

СТАНИСЛАВ ШУЛЯК

Инферно

РОМАН-ПАСКВИЛЬ



Станислав Шуляк

Инферно. Роман-пасквиль

«Издательские решения»

Шуляк С.

Инферно. Роман-пасквиль / С. Шуляк — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-963442-9

«Инферно» Станислава Шуляка — роман возмутительный, весёлый, вызывающий, неpolitкорректный, будоражащий, отчаянный: роман-пасквиль, роман-суицид, роман-катастрофа — истинно петербургский роман. В «Инферно» под своими именами выведены десятки современных деятелей культуры — писатели, философы, музыканты. Нынешняя культура — разновидность новой дьяволиады, по мысли автора, нечистая технология, сатанинское ноу-хау. Заканчивается роман зловещей картиной крушения великого города. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-963442-9

© Шуляк С.
© Издательские решения

Содержание

Хормейстер Фряликов	6
Писатель Сумароков	10
«Гнида» Григорьев	13
Телефонный звонок	19
Сволочной город	21
Забытая больная	24
Петроградка. Смутная зона	27
Путь Сумарокова	30
Сборы	35
Доктор Яд	37
Дядя и племянник	45
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Инферно

Роман-пасквиль

Станислав Шуляк

*Всё, происходящее здесь, – вымысел.
Настоящее гораздо хуже.*

© Станислав Шуляк, 2019

ISBN 978-5-4496-3442-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Хормейстер Фряликов

Когда говорят «хормейстер Фряликов, хормейстер Фряликов», так несомненно имеют в виду... Впрочем, Бог его знает, что имеют в виду, те, по крайней мере, кто слышал о хормейстере Фряликове, но уж, во всяком случае, профессия здесь совершенно не важна; да нет же, при чём здесь профессия? будь он даже не хормейстер, а нотариус или корректор, или инженер-технолог, или импресарио, это было бы всё равно; здесь важно само сочетание слов, каких-то хрипло-пряных, заносчивых, фыркающих, и в этом-то смысле тут как раз всё в порядке.

Кажется, было утро; впрочем, чёрт его знает, было ли утро; вероятно, было что-то иное, что-то более гадкое, чем просто *утро*, ведь невозможно же то, что было – везде, за окном и в квартире, да и в душе его промозглой (и будто в свищах), – назвать этим словом, словом, что было в вечном и двусмысленном употреблении недоумков-поэтов, тем никак не возможно обойтись без этого прилизанного и умытого слова. И нам не обойтись тоже, но станем лишь употреблять его со всеми необходимыми оговорками. Иное слово употреблять следует, лишь извинившись изрядно пред всем честным народом, пред всем человечеством.

Впрочем, разве мы имеем что-нибудь против этого времени суток? да ничего, собственно; оно не хуже и не лучше остальных. Куда ни плюнь, куда ни шмякнись своим внезапным пробуждением – всё попадёшь в какое-то время суток и в какую-то точку пространства, и не приходится быть чересчур привередливым. Был бы у нас выбор, так мы не знали бы, что такое судьба. Но иногда и совсем наоборот, возможно.

Странное дело, проснулся Ипполит Глебович Фряликов утром почти таким же пьяным, как и вчера лёг, ночь с её кошмарами и тревогами, которые он не помнил, почти не разогнала, не развеяла в его крови нетрезвого градуса, но напротив: будто проникла сама в кровь дурманом тяжёлым, безрадостным. С трудом прожитая ночь нехотя и будто через силу всё более покидала его, и извне напознала реальность, скудная, промозглая, тошнотворная. Это было великое русское пробуждение; в самом деле, кто ж из русских не пробуждался так?! Пускай бы только раз в жизни. Хотя, конечно же, пробуждаются эдак едва ли не каждый божий день! Он припомнил и то, что хотел бы забыть, что хотел бы перевести в разряд несуществующего. Он был хормейстером, он как будто продолжал им быть, или – нет, не продолжал быть, но работу в театре он уж потерял несомненно, и не жалел о том вовсе. Или пусть даже жалел – это ничего не меняло; жалость к делу не подошьёшь. Невозможно ведь было продолжать ходить в театр и скрывать то, что стало давно очевидным и для него самого, и для других тоже: он потерял слух. Нет, слышал он по-прежнему неплохо, хотя слышал что-то не то, какие-то шёпоты, возгласы, бормотания, будто копошились где-то рядом небывалые, фантастические животные, подражавшие чужим голосам не слишком искусно, это-то он как раз слышал хорошо. Хормейстер Фряликов потерял музыкальный слух.

Ипполит Глебович, немолодой мужчина, помятый и нескладный, посидел на диване и потёр о грязный пол жёсткими, босыми подошвами. Как было дожить до вечера? разве можно было дожить до вечера? до вечера было далеко. Впрочем, а что – вечер? Разве вечер – спасение? Ничуть не бывало; об этом даже и думать-то не стоило. Можно было, конечно, повеситься, тогда бы время до вечера прошло быстрее, эта мысль пришла ему в голову ещё вчера, и одна из немногих сохранилась. Прочие исчезли, истратились, а эта засела прочно и уверенно. Даже если повесишься, вечер увидишь всё равно непременно, пускай неживыми глазами, почему-то был уверен Фряликов, хотя вечер-то, конечно, будет каким-то другим (увиденный неживыми глазами), лучше ли, хуже ли, но уж другим непременно. Если мысли какие-то приходили к нему, так он в них не сомневался. Что, собственно, было в них сомневаться? Они приходили откуда-то снаружи, со стороны, как будто он подслушивал чей-то разговор за стенкой, и вот если из всего разговора в нём сохранялась одна только эта мысль или ещё какая-то другая, –

это уж было всё равно. А вот ещё когда-то один из снов его подсказал ему, что жизнь – это пакость, несравненная пакость, даже хуже самой смерти. Вот уж это было открытие, так открытие! Достойное удивления!..

Фряликов посмотрел на часы. Секундная стрелка агонизировала где-то между двенадцатым и первым делениями, остальные же стрелки и вовсе показывали что-то несусветное. Такого времени не бывает, с отвращением подумал Ипполит Глебович, впрочем, что значит «не бывает», когда вот оно, это время, и никакого другого нет и в помине, а из того, что есть, выбраться невозможно. Время – это наша петля на шее, это – отравленная наша кровь, это – порок нашего сердца или бессердечия, это – кровоточащая наша неповрежденность, это – протухшая наша пища, еда и напитки. Время – наш притаившийся убийца, который – раньше или позже – но обязательно появляется и делает своё дело!..

Если по-хорошему, так можно было бы выйти на улицу, просто прогуляться и подышать воздухом, тем, который есть, хотя воздух был дрянь, и с жизнью он совмещался весьма плохо, но Фряликова эта возможная затея не слишком-то устраивала.

«Зачем это ещё выходить?! – злобно подумал, почти даже выкрикнул (но уж пробормотал точно) он. – Когда там одна бравада и буффонада!..»

Что под сим подразумевалось, он и сам не знал, и не хотел даже задумываться; ибо вот так вот всегда бывает: задумаешься себе, а потом думаешь, думаешь, и до такого додумаешься, что совсем уж тошно на душе сделается. Впрочем, когда тошно, это не так уж плохо, знал Фряликов. Плохо, когда не тошно, когда смирно, когда благостно, когда обыкновенно, вот уж тогда точно хоть святых выноси.

Смотреть на себя самого в зеркало ему всегда было противно, но он всякое утро начинал с того, что смотрелся в зеркало. Он распял себя, он делал свою паническую гимнастику, он хотел убедиться, что всё пакостное, что было в его лице и в его тощей, беспримерной и нелепой фигуре, никуда не исчезло, что оно всегда с ним, что оно ему не изменило. А в том, что изменяет всё и изменяют все, он ни минуты не сомневался. Тем приятнее была ему его собственная мерзостная неизменность. Лучше всего было именно с неё начинать день, ничего другого и не придумаешь.

Где было зеркало? зеркало было на столе. Фряликов потянулся за ним, не вставая с дивана, но не мог дотянуться, тогда стал привставать и тут вдруг пошатнулся, ухватился за стол, чтоб не упасть, но лишь едва удержался, стол покачнулся, зеркало грохнулось на паркет и разлетелось на множество мелких осколков. Настроение его напрочь испортилось. Не то, что бы он верил в приметы, он плевать на них хотел, на все ваши приметы, но ему было жаль зеркала, к которому он привык. Зеркало, чёрт побери, денег стоило, нового ему было бы не купить, это-то от жены осталось покойной, единственное, что осталось; впрочем, нет, не единственное, много ещё всякой дряни осталось от покойной жены, и все воспоминания его были такой же дрянью. Вообще дрянь – это хорошо, дрянь – это наш поводырь, дрянь – это наш провожатый.

Его всегда раздражало, когда жена смотрелась в зеркало. Для чего старухам смотреться в зеркало? – спрашивал себя Фряликов. Он преувеличивал, конечно, и знал, что преувеличивает: жена была даже моложе его, правда – совсем на чуть-чуть, но себя-то Фряликов тоже считал стариком, старую облезлою шваброй. А жена, сидя перед зеркалом, что-то ещё там ковыряла у себя на лице, что-то теребила, что-то поглаживала или массиовала, это была одна из самых скверных её привычек, хуже вообще и не придумаешь. Слава Богу, что это давно уже закончилось; нет человека – нет и его привычек. Хотя, конечно, куда деваются они, привычки его, в гроб, что ли, с собою уносит он их? Ведь нет же? Зачем в гробу привычки? Зато в памяти нашей они остаются; вот и выходит, вроде, что не деваются они никуда.

Фряликов выправился, поднялся и стал осторожно выходить из комнаты, стараясь не наступить на осколки стекла. В некоторых осколках он всё же увидел себя, в основном, свою

лысину, как будто ничего другого и не было у него; но разглядеть толком ничего не мог; ему приходилось лишь принимать на веру то, что в нём ничего существенно не переменялось. Ой, не дай Бог, если переменится!..

Ипполит Глебович зашёл на кухню и беспечно потоптался на кухне. Есть там было почти нечего; была завернутая в целлофан котлета из кулинарии, но она, должно быть, пропала. Фряликов понюхал её, но не мог определить, пропала котлета или всё же не совсем. Тонкое обоняние никогда не входило в число его достоинств; ну и чёрт с ним: у других другие недостатки, и их поболее, пожалуй, чем у него, Фряликова. Холодильника у него давно уже не было (а куда он делся – это, в общем, неважно, совершенно неважно), и Фряликов всегда покупал вечером две котлеты: одну на ужин, другую на завтрак. Зимой котлета лежала до утра нормально, летом чаще к утру пропадала, но Фряликов всё равно её ел. Давился, а всё равно ел. «Небось, не отравишься!..» – как врагу какому-нибудь самому себе говорил он. Бывало, конечно, что и травился, но уж не насмерть, разумеется, а только до рвоты с поносом; что-то – а чувство меры-то у него пока сохранялось.

Позавчерашний хлеб позеленел, но это ничего, это ерунда; плесень можно было соскоблить ножом. Ещё он станет обращать внимание на какую-то там плесень, никуда это вообще тогда не станет годиться. Пенициллин тоже из плесени делают, а не из роз и фиалок. Фряликов ничего другого не ждал от жизни, кроме того, что у него было, ничего не хотел, не ждал он и другой жизни, к чему бы ему вдруг обманывать себя?! А если у других какая-то иная жизнь, так и чёрт с ними, пусть они подавятся своей иной жизнью; других Фряликов ненавидел.

На подоконнике он нашёл лист бумаги и карандаш. Он сел за стол и поскрёб где-то у себя под майкой. Так он думал, так он привык думать; а кто – скажите – думает по-другому? да и чёрт с ними, если и есть такие, которые думают по-другому, и пусть себе думают, как хотят, а он, Фряликов, думает так. Способы разные, а результат один: все мы сдохнем, сказал себе он.

«Чтоб этому дню... – написал хормейстер Фряликов, потом задумался. – Пусто было, – приписал он. Но остался недоволен написанным. Зачеркнул. – Хочу, чтобы сдох этот день, – снова стал писать Фряликов. Получались, вроде даже, стихи, они сами собою выплёскивались из него. И во всяком случае, они были правдивы и недвусмысленны; а это-то что, по-вашему, ничего не стоит? Фряликов стал собою гордиться. – Чтобы сдохла и ночь... (но этого я не увижу) ... Сдохла собака, сдох человек... Сдохла соседка, загнулся сосед. Чтоб рухнула лестница, рухнул весь дом. И улица гадкая чтобы подохла... Подохла и все пешеходы. И чтоб этот город проклятый тоже...» – написал Фряликов. Размер стал нарушаться, и Фряликов бросил писать, в конце концов, он – хормейстер, а не поэт; да-да, он не поэт, пишущий всю эту нынешнюю дрянь. А закончить можно было и позже.

Масла у него не было. Ипполит Глебович налил на сковородку немного ржавой воды из-под крана, плюхнул туда вялую котлету, нарезал заплесневевший хлеб и сложил его вокруг котлеты; вышло как листья вокруг кувшинки. Газ горел еле-еле, он всегда так горел, и пока его пища будет жариться, он вполне мог заняться чем-то другим. Чем же другим было ему заняться? Он пошёл в туалет. Бумажку со стихом он взял с собою и зацепил её на гвоздик, где висела у него стопка нарезанных газетных листов для известного употребления. Фряликов скучно сидел на унитазе и перечитывал собственный стих; картина крушения времени и крушения города ему определённо нравилась, в этом всё-таки что-то было. Что-то тотальное и бесспорное. Никто этого никогда не поймёт, конечно, но ему наплевать. Он продолжал собою гордиться.

Воспользовался он старым газетным листом, а стих его пусть подождёт до следующего раза, этого долго ждать не придётся, решил про себя Фряликов. Руки он мыть не стал, к чему обманывать себя, зачем думать, будто они оттого станут чище? Да и что такое вообще чистота, когда и мир – это только грязь и недоразумение, грязь и пакость, мусор и наваждение?! Да,

именно так!.. А вы-то как думали?! Вы-то, впрочем, возможно, и вообще никак не думали, не так ли? Не удивительно!

Котлета и хлеб, конечно, подгорели с одной стороны, с другой были ещё сырыми и выглядели мерзостно. Фряликов стал отскребать свою расплзшуюся пищу от чадающей сковородки, и кое-как перевернул остатки котлеты и хлеб. Плеснул воды на затрещавшую чугунную поверхность, горячие брызги попали ему на руки и на голую грудь. Фряликов чертыхнулся и злобно отскочил от плиты.

Кухня наполнилась дымом; Фряликов подошёл к окну. Жил он в пятом этаже, но внизу зеленел газон, убиться, конечно, можно было бы, если выпрыгнуть в окно, но без всякой гарантии. А это никого, разумеется, устроить не могло, то, что нет никакой гарантии. Разве что прыгнуть вниз головой? Тогда ведь будет понадежнее, не так ли? Пятиэтажные дома стояли один против другого, рядами, будто совхозные свинарники; в стороне была железная дорога, и он часто слышал идущие там электрички, которые зимой не давали ему спать, а там дальше – хотя отсюда и не видно – это было у него за спиной, протекала Чёрная речка.

Фряликов поставил сковородку на стол и мрачно потыкал вилкой свою некачественную пищу. «Чёрная речка, – сказал себе Фряликов. – Чёрная... У них даже речка чёрная. Сволочи! Ничего у них нормального нет! А по ней одно говно плавает. Натуральное говно! А по берегу эти... как их? только гермафродиты ходят».

Гермафродиты... Сказал он это себе так просто, без особенного смысла, и ещё он вдруг подумал, что забыл, что значит это слово. Он давно его не употреблял и вот теперь забыл, хотя раньше, конечно, ему было известно значение слова. Есть такие слова, что помнятся всегда, и есть такие, которые забываются при первом удобном случае. Это было из последних. Фряликов торопливо бросил вилку на стол, она обиженно подскочила и шлёпнулась на пол. Ипполит Глебович побежал к телефону. Набрал номер старого знакомого своего, писателя Сумарокова Павла Васильевича. Послушал гудки, тяжёлые, редкие, мрачные, хриплые. У телефона тоже, должно быть, тахикардия, успел подумать он.

– Павлик, – наконец, говорил Фряликов в трубку, когда услышал не то треск, не то хрипенье, и это было жалкое подобие человеческого отклика. – Павлик, извини, я забыл, что значит слово «гермафродит». Ты не помнишь?

Говорил Фряликов.

Писатель Сумароков

– Нет, какого, собственно, чёрта?! – писатель Сумароков говорил, возвысив свой голос до степени изрядного раздражения. – Я знаю, почему ты звонишь! Ты выдумал какой-то нелепый, несусветный повод для того, чтобы напомнить мне, что я должен тебе эту мизерную, да-да, мизерную... эту смехотворную сумму.

Трубка забулькала голосом, весьма отдалённо напомиравшим фряликовский; по телефону голос Фряликова всегда слышался много гаже обычного. Обычно телефон украшает, нивелирует, но у хормейстера было наоборот.

– Павлик, Павлик, – оправдывалась трубка, – я вовсе не то имел в виду. Представляешь, я действительно забыл слово. И, если я сейчас не вспомню, я буду мучиться весь день.

– И ты даже не даёшь себе труда подумать, что я, может быть, дописываю сейчас «Вертера».

– «Вертер» давно уже написан, – коротко булькнула трубка и затихла.

– Или «Идиота»? – говорил писатель фальшивым бычьим голосом.

«Сам ты идиот», – раздражённо подумала трубка.

– И я при этом вынужден ещё думать о том дурацком долге, который, можешь не сомневаться, всё время тяготит меня. Я согласился взять у тебя эту сумму в минуту слабости!

– Представляешь, я помню, что это что-то такое, связанное с сексом. А что именно – не помню...

– Та минута давно прошла, и остался я, писатель Павел Сумароков, я в чистом виде, с моею работой, с моими замыслами, с моими рукописями...

– Если они, гермафродиты, существуют, почему тогда так мало говорят о них? А если это какие-то мифические существа, тогда зачем вообще о них вспоминать?

– Да ты, – буркнул Сумароков, – ты вот и есть гермафродит настоящий!

Фряликов похолодел.

– Что ты, сказал, Павлик?

– Сказал, что ты гермафродит! – захохотал писатель. Сумароков всегда выражался грубо и размашисто, в недрах крови его гнездилась ненависть к иному риторическому глянцу.

– А откуда ты?... – прошептал Фряликов и машинально схватился за промежность. Кажется, он уже вспомнил значение слова, но возможно всё же, отчасти смешивал его с другим словом, обозначающим что-то в таком же духе.

– Ну что? Получил? – крикнул в трубку писатель Сумароков.

– Разве ж я гермафродит? Гермафродиты не такие! – потерянно пробулькал Фряликов.

– Гермафродиты не такие. А ты вот такой! Хоть и гермафродит. Понял теперь?

– Павлик, Павлик, зачем ты так говоришь?

– Чтобы ты не забывал?

– Что не забывал?

– Гермафродитство своё беспредельное – вот что не забывал!.. – крикнул писатель.

Фряликов всё ещё щупал у себя в паху. Нет, это ерунда, конечно, Сумароков просто издевается над ним. Хулиганство просто какое-то! Да если бы Фряликов и был этим самым гермафродитом, откуда бы это знать Сумарокову? Хотя разве ж это на лице не отражается? Да тогда бы и сам Фряликов знал бы, что у него что-то не так. А он не знал, что у него что-то не так.

– Павлик, я тебе не вовремя позвонил, я понял, – потерянно сказал Фряликов.

«А что я вообще делаю вовремя? – сказал ещё себе он. – Родился-то я вовремя? Живу-то я вовремя? Сдохнуть-то я не опоздал?»

– В конце концов, я могу тебе сегодня же вернуть тот мизер, который взял у тебя, – заносился всё более писатель.

– Да, это было бы неплохо, – буркнула трубка голосом хормейстера Фряликова, бесцеремонным голосом хормейстера Фряликова, эксцентрическим голосом хормейстера.

– Я сегодня получил гонорар в «Звезде»... за повесть. Нет, получу сегодня. Прямо сейчас получу.

– Павлик, зачем ты так выражаешься?

– Я сказал – получу... гонорар... в «Звезде», – отдельно и с досадою говорил старый писатель. – Что же здесь плохого?

– Да-да, – сказал Фряликов. – Я понял. Ты сегодня получишь гонорар.

– Получу, – подтвердил Сумароков.

– Получишь, – повторил Фряликов. – Но ты злишься.

– Получу.

«Сволочь, – подумал Фряликов. – Он гонорары получает».

– И поэтому я требую! Я настаиваю! – выкрикнул писатель. – Чтоб мы с тобой встретились и сегодня же навсегда закрыли этот вопрос.

– Я согласен, – кротко сказал Фряликов. – Лишь бы ты так не сердился, Павлик.

– А вот уж это позволь решать мне самому, – сказал писатель Сумароков.

Фряликов ещё раз осторожно потёр ладонью в паху, будто бы хотел убедиться, что там всё в порядке, и спросил тревожно:

– Где встречаемся?

– Там, где я у тебя взял, там и верну, – торжественно говорил Сумароков. – Не забыл, надеюсь?

– Помню, – сказал Фряликов.

Фряликов не помнил, на самом деле; поначалу ему казалось, что помнит, но потом он понял, что нет. Сумароков брал у него деньги несколько раз, и всегда это было в разных местах, брал довольно непринуждённо, походя, а где, когда и сколько – этого Фряликов теперь ни за что не мог бы припомнить. Но признаться в своей забывчивости – значит, повод подать к новым злоупотреблениям.

– Вот тогда и выходи сейчас, – сказал ещё писатель.

Оба раздражённо бросили трубки. Сумароков ещё клокотал и раздувал ноздри.

«А что, если я и вправду „Вертера“? – бормотал он. – А этот меня перебил! Пропадёт, пропадёт наша литература! Точно пропадёт! Великая наша литература! Совсем пропадёт! Ну и хер с ней, пусть пропадает!» – решительно сказал себе Сумароков.

По правде сказать, «Вертера» никакого Сумароков не писал; компьютер на столе у него был включён, но вовсе не для «Вертера». Да и при чём здесь «Вертер»? «Вертер» давно написан. На столе лежала книжка какого-то малоизвестного португалишки или макаронника, что ли, и Сумароков списывал из неё одну фразу. Макаронника этого никто никогда не читал, и ни за что не додумаются, что он, Сумароков, списал эту фразу. А если что – можно там какие-нибудь слова переставить, тогда уж точно не догадаются. Все слова давно известны, писатель создаёт лишь их новый порядок. «Смерть была прилично одетая дама средних лет с выражением лица таким, как будто она, добродетельная женщина, в субботу утром выбралась на скачки вместе со своим молодым любовником», – была фраза. И она нравилась Сумарокову, фраза была ловкой и немного лукавой, или даже – от лукавого; и вот почему только её придумал какой-то итальяшка или там португалишка, а не он, русский писатель Сумароков?! А ведь над нею корпел ещё какой-нибудь пройдоха-переводчик... Нет, несправедливо. Разве итальяшки умеют писать? Ни хера не умеют итальяшки! Кто там у них умеет писать? Итальяшки – это те же цыгане, они только строят из себя европейцев!

Гонорара никакого в «Звезде» Сумарокову сегодня дать не могли, это он как раз напрасно сказал.

«Как же! – распаял себя он. – Дождёшься! Дождёшься от этих жидоморов! Хоть с голоду помирай – а не дождёшься!»

Впрочем, Сумарокова в «Звезде» и не печатали уже года два, и вообще нигде не печатали. Да печатать, собственно, было и нечего. Но это не страшно: у других тоже печатать нечего, но ведь печатают, печатают же! Раньше писали в стол. И он, Сумароков, тоже писал в стол. Потом, в иные годы выгребли всё из столов, весь мусор, всю погань, всех тараканов, и теперь в столах уже ничего не осталось. А печатают нынешние скороспелки, которые в три дня, в неделю пищутся и которые уж точно и гроша ломаного не стоят! И чего он так, идиот несчастный, расхвастался насчёт денег перед Фряликовым?! Чем бы другим хвастался, но уж не деньгами, ясное дело! Теперь ведь и впрямь придётся доставать где-то и отдавать. Какой уж там «Вертер»?! Хер вам всем, сволочи, а не «Вертер»!

Сумароков выругался и стал выключать компьютер. В компьютере были вирусы, в квартире – тараканы, жена – в сумасшедшем доме. А с этими сволочами и самому свихнуться недолго, они только и ждут, чтобы Сумароков свихнулся, они никакими средствами не брезгуют. Свихнётся – так только порадуются, воспрянут, возгордятся; да нет, сволочи же, сволочи, натуральные сволочи!

Но, если так пойдёт дальше, он выскажет ещё всё, что о них думает, вот увидите – выскажет, не побоится! Выйдет вот так на площадь главную, на перекрестье дорог, расставит ноги пошире, харкнет на все четыре стороны и скажет: сволочи вы все, люди, твари вы все, люди, суки вы распоследние! Вот он стоит перед вами, – смотрите! – стоит писатель земли русской Сумароков Павел и плюёт на вас слюною смердящею, и ненавидит вас последними силами души своей изнемогшей, промозглой, страдающей. Пейте, людишки, ненависть мою, глотайте, ничтожные, мерзкие, отвращение моё беспредельное, безудержное, небывалое!..

«Гнида» Григорьев

Этому Сумарокову всё бы только в душу нагадить – на другое он ни на что не способен. Как это так: вдруг взять и сказать, будто бы он, Фряликов, – гермафродит; это уж вовсе ни в какие ворота не лезет!

Хормейстер Фряликов собрал по всему дому пивные бутылки, даже из-под дивана выка-тил пару, но вышло всего около десятка. Мыть он их не собирался; кому надо – сам помое-т, а посудомоем Фряликов не нанимался. Потом он влез в пижонские остроносые туфли, когда-то изрядно блестящие лаком... впрочем, что теперь прошлое вспоминать, нет никакого про-шлого! натянул зелёную китайскую куртку со сломанной «молнией», закрывалась она легко, открыть же её невозможно было никакими силами, поэтому Фряликов никогда и не рисковал, подхватил мешок с гремевшими бутылками и вышел на изрисованную вонючую лестницу.

В районе третьего этажа встретил он глупую старуху Злату Аркадьевну Пискунову с клю-кой, соседку снизу, похожую на ведьму. Старуха шла Фряликову навстречу, держась за перила и явно симулируя одышку. Старая кочерыжка могла бы посторониться, конечно, подумал Фря-ликов, он ведь всё-таки с бутылками шёл, это понимать надо, да и болеет человек к тому же, но она не хотела ничего понимать и попёрла, дура, прямо на Фряликова. Пришлось тогда Фря-ликову посторониться. Однако и он в долгу не остался: всё ж саданул Злату Аркадьевну меш-ком с бутылками, так что та даже взвизгнула от боли и с минуту бурчала что-то нечленораз-дельное, а он с достоинством прошагал далее. Хормейстер это вам не какая-нибудь старая гримза – ясно? – даже никакого сравнения быть не может!

Погода на улице была гадкой и какой-то сомнительной, но не возвращаться же из-за этого обратно, ведь это совсем нужно быть идиотом. Смотреть по сторонам не хотелось, да и на что смотреть, собственно? На дорогу, собаками обосранную, на дома убогие, в которых людишки, как муравьи, понапиханы, ходят, друг об друга спотыкаются, бока друг другу обивают? Глухо-мань! Злою глухоманью всегда был сей град, даже когда блистал пред миром столицей!

Обливаясь потом и гремя на каждом шагу бутылками, Фряликов кое-как доплёлся до Ланского шоссе. Сломая головы мчались здесь приземистые маршрутки, сновали автомо-били, сверкавшие безликим хромом и заносчивою эмалью, ковылял двурогий троллейбус, похожий на инвалида. Фряликов остановился, чтоб перевести дух, но стоять было хуже, чем идти, и Фряликов со своим неизбывным мешком побрёл далее.

– Бутылки берёте? – с трудом спросил он у толстой моложавой татарки Фаи в ларьке. Нет, в сущности, это была даже не баба, это была какая-то стервозная накладка.

Та не стала отвечать, а лишь ткнула рукою в замызанную бумажку под стеклом. Фряли-ков поднял голову и долго всматривался в татарские каракули. За бутылки давали такой мизер, что Фряликов даже выматерился. Почему за бутылки дают такой мизер? Обнаглели совсем; народ за мусор держат и совсем с тем не считаются. С народа шерсть состригли, и уже за шкуру принялись. Скоро уж и косточки застучат. Так что ж теперь идти ему в другое место с этим проклятым мешком, где, может быть, на рубль дадут больше? А может даже, и того не дадут. Им теперь никто не указ; творят, что хотят, и слова им не скажи. Раньше вот тоже слова нельзя было вякнуть, спора с этим нет, конечно, а жили лучше.

– Ладно! Давайте! – грубо сказал Фряликов и начал выставлять бутылки в оконце. А чтоб досадить татарке Фае, нарочно толкнул одну бутылку. Та упала и разбилась. Татарка выруга-лась (убирать ей теперь надо было за этим недотёпой) и швырнула Фряликову какую-то влаж-ную мелочь. Денег, если прикинуть, не хватало даже на пиво, и Фряликов, подумав две минуты, взял сигареты, из дешёвых.

– А! – слышал он за спиной. – Вот ты где! Я тебя искал. А может, по блядам сходим?

Фряликов обернулся, и его тотчас передёрнуло. Сзади стоял Гена Григорьев с синей сумкой через плечо, с бутылкой пива в одной руке и недоеденной шавермой в другой. Гене было под шестьдесят, или даже все шестьдесят, пожалуй, он был в светло-серых клетчатых брючках, в грязной клетчатой же рубашке, в мятой расстёгнутой курке, и концы шарфа вылезали у Гены откуда-то из подмышек. Нос и борода его были все в соплях и майонезе.

– По каким это блядям? – кисло спросил Фряликов, готовясь от Григорьева выслушать какую-нибудь пакость.

– Да есть тут такие. Одна моя ученица, а другая бывшая подружка Аркашки Драгомощенко. Аркашка мне её как-то в карты проиграл в Сестрорецке. Он тогда только так рукой махнул: если уж так вышло, то и хер с ней. И уехал в город. Мне вот только ещё сейчас на радио надо, Серёжку с Сашкой повидать, я им пьесу несу, они уже в сорока моих пьесах играли, я должен сказать, что им делать надо... Мне Серёжка Дрейден сказал: ты, Гена, давай мне экстрима побольше: чтоб я на дерево лез, с парашютом прыгал, в реке тонул, на плоту плыл. Чтоб вулкан извергался, чтоб гроза была. И чтоб ритм всё время рваный, он это хорошо чувствует. Ну вот, я так всё и сделал. Там, если Галька, режиссёр, на полчаса выйдет, поссать или кофе попить, я сам у них всё поставлю. Мне ребята говорят, что я лучше Гальки всё делаю. И Коля Крышук говорит то же. А ещё я скоро в Эстонию поеду, а потом в Крым, мне надо паспорт сделать, в ОБИР зайти, а потом на радио, ну а вечером уже можно по блядям сходить... возле метро «Московская»...

Григорьев откусил пол шавермы, измазав брови майонезом, и запил шаверму пивом.

– Хочешь? – протянул Григорьев бутылку своему собеседнику.

Пиво Фряликов хотел, но он посмотрел на бутылку, в которой очевидным образом плавали крошки из григорьевского рта, и с отвращением отказался. Вот если б не от Григорьева было пиво, тогда не отказался бы точно, а после Гены пить было невозможно. Фряликов сглотнул слюну и потоптался на месте нетерпеливо.

– Утрись! – сказал он только, глядя мимо Гены.

Григорьев беспрекословно утёрся шарфом и размазал всё, что было на бороде, на бровях же майонез остался.

– Ему так даже лучше, – подумал Фряликов. – Пусть себе, придурок, ходит в майонезе.

– Что-то ты сегодня, вроде, не в себе, – сказал Григорьев.

– Как это так – не в себе?! – со злостью спросил хормейстер.

– Ну так... на себя не похож!

– Что ты такое городишь?! – крикнул Фряликов.

– Ну, другой какой-то стал, – рассудительно сказал ещё Гена.

Фряликов отстранился. Он хотел было посмотретья в стекле каком-нибудь, а хоть бы и в витрине, но всё не попадалось ему ничего подходящего, где бы можно было хоть что-то увидеть.

Григорьев же сделал выражение на лице, как будто собирался читать свои стихи. Похоже, он и впрямь собирался их читать. Он не мог и двух минут постоять спокойно, чтобы на него не обращали внимание.

– Ну ладно, мне пора, – сказал Фряликов.

– А ты куда собрался? – спросил Гена.

– В центр, – мрачно сказал Фряликов. – У меня встреча, может быть.

– А с кем встреча-то? – поинтересовался Григорьев.

– Это моё дело! – огрызнулся хормейстер. – Тебе сейчас скажи – так тебе тоже захочется!

Фряликов стал уходить, но Гена увязался за ним; а никто, собственно, и не предполагал, что не увяжется. Плохо нужно было Гену знать, чтобы предположить такое, а Гену все знали хорошо.

– Мне тоже в центр, – сказал Гена. – Ну так что, пиво станешь? – спросил ещё он.

– Пивко, значит, любишь? – желчно сказал Фряликов, взглянув мельком на Генины руки. А руки были в мезозойских мозолях, да и под ногтями его чернел прошлогодний аллювий.

«Как славно в час душевного отлива, – со вкусом начал декламировать настырный Григорьев, помахивая пивной бутылкой, уже почти пустою:

Забыв, что есть и недруг, и недуг,
Пить медленное мартовское пиво
В столовой Академии Наук».

Гена откусил ещё от шавермы и, пропустив несколько катренов, продолжил, роняя изо рта куски пищи:

«Академичка! Кладбищем надежд
Мальчишеских осталась для кого-то
Местечко, расположенное меж
Кунсткамерой и клиникою Отта».

– самого б тебя в клинику Отта! – оскалился Фряликов.

– Ты бывал там? Помнишь? – допытывался Гена.

– В клинике Отта?

– В академической столовке, – возразил Григорьев. – А мы там все бывали. И Витя Кривулин, покойник. И Лева Лурье. И Витька Топоров. И Саша Кушнер. И все прочие жида. А цены там были... ты не представляешь! Кофе – три копейки. Это если простой и без сахара. Двойной – шесть. Если тоже без сахара. А делали ещё и тройной. Для любителей.

– Сколько стоил? – ядовито спросил Фряликов. Можно подумать, было ему какое-то дело до кофе без сахара, продаваемого где-то лет тридцать или сорок назад, ещё при социализме. В нём, кажется, засел сатирический соглядатай, в нём всегда сидел сатирический соглядатай; он вообще теперь изрядно заплутал в своём сомнительном амплуа.

– Не помню, – сознался Гена. – Слушай, – стал ещё говорить он, – а хочешь, купи в Крыму землю возле меня, стоит дёшево, до моря пятнадцать минут, я уже там всех наших собрал. У меня там дом, ну, сарай фактически, но мне больше и не надо, и земли чуть-чуть; кто-то виноград сажает, а мне это не нужно, там вино и так хорошее и недорогое. Я туда уже половину Союза писателей затащил, все дома себе купили.

– Ну, конечно, – громко говорил Фряликов. – Обезьянника им в Сухуми мало, им ещё зверинец в Крыму подавай!

– Ты не понимаешь. Я хочу там создать уголок с петербургской аурой, я организую там всероссийский театральный фестиваль, – с достоинством говорил Гена, помахивая остатками шавермы. Жидковатый, разведённый майонез затекал ему в рукава, но увлечённый Григорьев на это никакого внимания не обращал.

Фряликов прибавил шагу.

– Крым у хохлов вообще-то, – буркнул он, не оборачиваясь.

– Да это неважно, – возразил Гена. – Хохлы – отличные ребята. Да там, если хочешь знать, хохлов вообще нет. Там, в Крыму, вообще одни русские, да татары охотлившиеся. Они хохлами только прикидываются, ничего в них нет настоящего хохляцкого.

– Что, и сало не едят?

– Сало едят. Сало все едят. Сало я сам ем, – возразил Гена Григорьев. – А ты что, не ешь сало?

Фряликов шёл, руками размахивая, как вертолёт лопастями.

«Чёрт побери, – думал он, – отчего это день начинается с того, что разговариваешь с уродами? И так тут, того и гляди, в гермафродита превратишься, так тут же тебе ещё этот! Что это за день такой?!» – с тоскою думал Фряликов.

– Слушай, – только и сказал он Гене, – а чего тебя Топоров в своей книге гнидой назвал?

– Подумаешь! – ничуть не смущаясь, говорил Гена. – Я его в поэме Абрамом Колуновым назвал. Поэма такая... «День „Зенита“».

– Я знаю! Знаю! – заорал Фряликов, упреждая новую порцию Гениных стихов.

Григорьев и Фряликов прошли уже Новосибирскую и свернули в Торжковскую, по которой ходил трамвай; народишко здесь вблизи от метро снова весьма оживлённо. У обочины дороги вереницею притулилась стайка маршрутных такси на кольце. Ковылял разукрашенный какой-то идиотской рекламой троллейбус. Фряликов с омерзением наблюдал, как взад-вперёд своими жалкими суетливыми человечьими походками бегут разнообразные ничтожные прохожие.

«Чёрт! – гадливо говорил себе Фряликов. – Сколько их тут! Даже дышать нечем. Совсем издышали весь воздух!»

Рядом как на грех шагал ещё Григорьев и дышал перегаром и иными несвежими ароматами. Да, можно подумать, другие лучше! Ходят, дышат, дышат, и всё такое прочее. Даже лучше и не думать, что они такое ещё делают. Дыши потом после них одним и тем же воздухом. Фряликов помрачнел пуще прежнего, ему не нравилось быть человеком и чувствовать то, что все люди чувствуют, без всяких возможных вариантов, без всякого возможного выбора. Григорьев же будто совсем вошёл в раж. Этому-то всё нипочём. Этот и в сточной канаве купаться может.

– Тебя, говорят, из театра выгнали... – говорил Гена.

– Почему выгнали? – остановился Фряликов. – Сам ушёл. Мне там неинтересно. Вы ещё обо мне скоро услышите! – обозлившись вдруг гаркнул Ипполит Глебович.

– А у меня есть стихотворение, – продолжал Гена. – «Болото» называется.

Фряликов не выразил ни малейшего интереса и лишь неуютно усмехнулся. Но Григорьева это нисколько не смутило:

«В разговорах, в любви, в работе, – звучно читал он:
Мы куда-то себя торопим.
Петербург стоит на болоте.
По болоту идём. По топям».

Фряликов снова понёсся вперёд, сморкаясь на бегу. Но Григорьев со своими стихами не отставал от бегущего хормейстера. «Погоди! Куда?» – кричал он и читал далее:

«Если даже по магазинам,
Или в гости к знакомой даме —
Всё равно идём по трясинам,
Сотрясающимся под нами.

Петербург – он почти в Европе,
Петербург – он богат дворцами...
Но какие повсюду топи! —
Чуть оступишься и – с концами».

«Чёрт! Чёрт! – беззвучно стонал хормейстер. – Знал бы он, что я сочинил сегодня! Не стал бы тут лезть со своими дворцами. Можно подумать, он один поэт! А он не один поэт!»

И была душа хормейстера в тоске, была обременена броненосным её беспокойством.

Он скрежетал зубами, он останавливался возле ларьков, разглядывая их витрины, будто бы он хотел купить хлеб или бананы, но он не собирался покупать ни хлеба, ни бананов, и вот он, сглатывая свою усталую слюну, вскоре бежал дальше. Гена всё время нависал сзади, неизменный, как тень и неумолимый, как смерть:

«Купола стоят в позолоте.
Шпили ввысь устремились стройно».

– Купола!.. позолота!.. – с бессильной ненавистью бормотал Фряликов. – Какая ему ещё позолота?!

«Петербург стоит на болоте.
По ночам у нас беспокойно, – продолжал Григорьев:

На болоте не видно брода,
На болоте шумит осина...
Вон – случайного пешехода
Засосала опять трясина».

«Идиот! Идиот!» – беззвучно повторял про себя Фряликов, чтобы заглушить навязчивую григорьевскую декламацию.

«Как подумаешь... А ведь что-то
В этой жизни не то творится...
Все спешат, а кругом – болото.

Дай им, Боже, не провалиться», – наконец, кажется, закончил декламировать Григорьев; да и то закончил оттого, что курить захотел. Он и закурил, курил и Фряликов, раздражённо и жадно.

- Ты не опаздываешь? – крикнул задыхавшийся Фряликов.
- А сколько времени?
- Не знаю.
- Тогда опаздываю. У меня сегодня тоже важная встреча.
- Какая встреча?
- Об этом нельзя говорить, – с забавной многозначительностью сказал Григорьев.
- Поезжай на метро, – приостановившись на мгновение, посоветовал Ипполит Глебович.
- Куда? – спросил Гена, распространяя вокруг себя дух весьма неаппетитный и невозможный.
- Туда, куда ты едешь, – сказал Фряликов, отвернувшись.
- А может, и не опаздываю. Ты тоже на метро?
- Пойду пешком. Меня тошнит от метро, – соврал Фряликов.
- Тебя тошнит не от этого, – рассудительно возразил Гена.
- Меня тошнит от всего.
- Ну пока, – сказал Гена. – Много не пей.
- Ты тоже, – сказал Фряликов.
- Ещё увидимся, – сказал Гена. – И давай, в Крым поехали. Поедешь, что ли? – ответа он не стал дожидаться, шагнул в толпу бессмысленных пешеходов и был втянут толпой в вестибюль метро. Лишь ещё раз мелькнули в отдалении его нелепые клетчатые штаны и мятая

куртка, и выглядело это всё миражом, оптическим обманом, наваждением. Откуда-то подбежали ещё и ещё людишки и дружно стремились туда, куда стремились всё.

Фряликов вздохнул с облегчением. Он потоптался на месте, тоскливо глядя по сторонам, потом скучно пошагал в сторону островов и центра. В мошонке ощущал он зуд, будто от воспаления.

Стыдно, стыдно быть человеком! Вошью быть лучше, тлём быть лучше; вошь мелкая, заботы её мелки, проблемы её ничтожны, душа у неё не болит так...

Телефонный звонок

– Ну, хватит из угла в угол ходить! Слышишь? – говорила старуха Злата Аркадьевна. – Хватит! Иди уроки учить!

– Ну да, иди сама уроки учить! Мы уже же не учимся. А я буду телевизор смотреть.

– Учиться всегда надо. Не будешь телевизор смотреть.

– Вот сама и учись! – огрызнулась ещё внучка Маринка, шестиклассница. – А я буду!

– Ты почему так со мной разговариваешь?

– А вот потому! Бабка старая! Бабка глупая!

– Мать с работы придёт, всё расскажу, – мстительно пообещала старуха.

– Я сама ей всё про тебя расскажу!

– Что ты про меня расскажешь? Про меня рассказать нечего. Что про меня рассказать можно?

– Что ты ко мне придираешься, расскажу! Что ты сумасшедшая! Что ты телевизор не даёшь смотреть! Что ты ведьма! Ясно?! Всё расскажу!

– Что за непослушная девчонка!

– Меня мама любит. А ты только храпишь! Ты чавкаешь! Ты глупая! Ты ходишь еле-еле! Ты когда ходишь, на тебя даже все мухи садятся! Все мухи вот так – ж-ж-ж!.. и на тебя садятся!

– Я же уже старенькая, Мариночка!

– А я маленькая. Ты помрёшь, а я жить буду и к тебе на могилку ходить не стану.

– А вот станешь! А вот станешь!

– Не стану! Ни за что не стану! За миллион рублей не стану!

– За миллион станешь.

– Не стану! И за миллион долларов не стану!

– И на могилку ходить станешь, я говорю, и цветочки принесёшь! Ясно тебе?

– А вот не принесу! И даже те, что вокруг расти будут, посрываю и в помойку выброшу!

– Значит, бабушку не любишь?

– Не люблю, не люблю! – пританцовывала девочка. – Злую бабку не люблю!

– И я тебя любить не буду.

– Ой-ой-ой, напугала! Да мне на это наплевать с самой высокой башни. На самую высокую башню залезу и плевать, плевать буду! – скалилась довольная внучка.

– Никуда ты не залезешь! – шипела Злата Аркадьевна и тянулась сухими своими ручонками к внучке. Та выбежала из комнаты, старуха хотела брести за нею, но тут зазвонил телефон. Маринка метнулась обратно в комнату, к телефону.

– Меня! Меня! – крикнула она, но старуха уже взяла трубку.

– Алло! – дребезжащим голосом сказала Злата Аркадьевна, тяжело усевшись на стул возле аппарата.

– Это меня! – приплясывала рядом внучка. Старуха отстранила её рукою.

– Златочка! – слышался из трубки звучный глубокий голос. Будто ночью беззвёздной, безлунной потянуло из трубки и из того голоса. Будто ветер пробежал по отделам, окраинам и околоткам души старушечьей, тёмной. – Злата! Надеюсь, ты про меня не забыла?

– Ты! Ты! – шептала старуха. – Это ты, господин? Ты здесь? Ты с нами? Ты к нам вернулся?

– Да, – подтвердил голос. – У меня было много дел. Но вот я, наконец, выбрал время, чтобы снова посетить вас.

– Мы так ждали тебя! Мы уже заждались.

– А не надо было меня ждать, – как будто слегка нахмурился голос. – Надо было действовать! И надо было меня призывать!

– Мы действовали! – залепетала старуха. – Мы, как могли, действовали. Но нам так тебя не хватало!

– Знаю! Знаю, что действовали! Но мало! Мало действовали! Поэтому я снова с вами.

– Ты с нами! – прошептала старуха.

– Я с вами!

– Как хорошо-то! Как хорошо! – слезы потекли по сухой старушечьей коже. – Ты такой же красивый, как и всегда? Ведь так?

– О-о! – насмешливо согласился голос в трубке. – На сей раз я выбрал нечто экстравагантное. Тебе, несомненно, понравится.

– Я так хочу поскорее увидеть тебя! – прошептала старуха сквозь слёзы.

– Всему своё время, Злата Аркадьевна! – был голос.

– А когда? Когда?

– Скоро!

Щелчок, и – гудки. Конец разговора.

Он всегда бывал таким решительным, неожиданным, вездесущим, благородным. Впрочем, это всё не те слова; никто не знает, каким он бывал всегда. Главное, он был и есть, и этого отрицать невозможно. Если он рядом, его всегда много. Если он в отдалении, то его как будто нет вовсе. Но удалённость его всегда обманчива, она не бывает иной. Он всегда подстерегает и никогда не отпускает на волю, он всегда щедр, но щедрость его из рода ловушек. Он сильнее всего сущего, и оттого сущее о нём забывает. Он в заговоре с самим собой против всего действительного или возможного, и пусть трепещет всё действительное или возможное – чужое, неумолимое его присутствие всегда рядом...

Внучка Маринка рядом топталась в недоумении.

– Кто это звонил? – деспотически говорила она. – Кто звонил, я спрашиваю?!

– О, это такой... такой... – с трудом сказала Злата Аркадьевна. – Он самый лучший и самый сильный!

– Ты что, ведьма? Ведьма?! Ты же ведьма! – крикнула девчонка.

– А ты? – сказала старуха.

Маринка была совсем близко, Маринка стояла совсем рядом. Злата Аркадьевна потянулась рукою, чтобы погладить внучку. Та не стала отстраняться. Бабушка приобняла внучку, погладила по волосам, по щеке, по шее, потом взяла рукою за горло, сдавила неожиданно. Девочка захрипела, застонала, завопила, стала вырываться, глаза её вылезли из орбит. Откуда вдруг взялось столько силы в дряхлой старухе Злате Аркадьевне? Одною рукою она крепко держала извивавшуюся и вопящую девчонку, а другою душила. Девчонка была тоже их породы, дерзкой и живучей, целая минута потребовалась бабушке, чтобы сладить с внучкой, но, когда, наконец, бездыханное тело Маринки соскользнуло на пол, лицо Златы Аркадьевны светилось тихим торжеством. Остался ещё порох в пороховнице.

Сволочной город

Писатель Сумароков тяжело спустился по лестнице и вышел на одну из самых сволочных улиц этого сволочного города – улицу Некрасова, бывшую Бассейную. Да и сам Некрасов сволочью был порядочной, фарисействующим барином, и вот его именем улицу назвали. Это у них всегда так!.. Хотя... а кто из великих у нас не был сволочью или мерзавцем?! А уж каким мерзавцем был Лермонтов! Не зря Мартынов до конца дней своих говорил: довелось бы ему ещё раз убить Лермонтова – убил бы сызнова, и рука б не дрогнула. И вот вам – пожалуйста: проспект именем Лермонтова назван. Впрочем, может быть, есть и более сволочные улицы, это уж кому что нравится, Сумарокову же не нравилось ничего! Он смотрел с отвращением на визжащих во дворе детей, на старух, бессмысленно сидящих на скамейках и глазающих по сторонам, на грязные стены своих домов. Он не знал, куда ему идти, он не мог сдвинуться с места, он тупо стоял возле своего парадного, и сердце его колотилось тревожно.

«Вот, – сказал себе он. – Вот стоит писатель земли русской Сумароков Павел! Возле дома своего стоит, а на доме даже сраненькой доски никакой нет. Вот подохну я, тридцать лет пройдёт, и будут всё сопли жевать, секции собирать, заседания проводить: вешать доску, не вешать!.. Заслужил Сумароков, не заслужил!.. А мне, может, через тридцать лет доска не нужна. Мне сейчас нужна. И не так, чтобы... „здесь жил и работал...“ А так: „ЖИВЁТ... великий писатель земли русской Павел Васильевич Сумароков“. Живёт... и всегда жить будет. Потому, что право имеет. Трудом своим право жить заслужил. Жить долго. Может, даже всегда. Кто ещё так трудится, как Сумароков? Кто ещё так тяжело думу свою обо всей стране несёт? И думой своей тяжёлой с современниками делится щедро. Да нет, насрать на современников! – с потомками. Если, конечно, людьми будут они, эти потомки. А – нет, так и на них тоже насрать. Труд Сумарокова вообще не для людей, а для кого же, собственно? Для кого, для кого?! А может, для Бога!.. Я и Бог!.. Только я, Сумароков Павел, и Бог, мой визави. Я тружусь, труды Ему свои приношу, а Он меня искушает. Испытывает. А за что испытывает? зачем? – одному только Ему и известно. Да, тяжела дума моя!..»

Сумароков понуро, с сутулой спиной, пошёл со двора. А ведь каким красивым, каким удивительным мог быть его дом, если б семьдесят лет здесь большевики не хозяйничали, а потом ещё эти... Они-то потом всё и угробили, что большевики угробить не успели. Да какая доска? зачем здесь доска? чтоб на неё голуби срали? кому нужна доска? кому нужна слава России? Литературная. Духовная. Историческая. Никому, никому не нужна слава России! Позор нужен, слава – нет!

А всё равно прежнее время было лучше. В прежнее время он был бы по трудам его председателем Союза и не здесь, а в столице; в прежнее время он вышел бы утром из дома, дыша утренней прохладой и свежестью, а во дворе его уже машина дожидалась бы, а в машине шофёр Петя за рулём дремал бы. Павел Васильевич так в лобовое стекло постучит, Петя из машины выскочит и побежит перед Сумароковым дверь распахивать. Потому как начальство!.. Так вот было бы в прежнее время. Кто не помнит старого времени, тот не знает, а он, Сумароков, помнит, он знает. Где оно, где прежнее время? Нет прежнего времени! Просрали прежнее время; и сами не рады уж, а только сделать ничего нельзя.

Но при всём при том он, Сумароков, никогда бы не стал походить на всех этих жирных московских котов, чьи имена всегда на слуху, которые из всех ящиков, из всех газет и журналов ухмыляются плотоядно, радетелей о благе народном из себя строят! Никакие они не радетели о благе народном, а коты, просто коты, жирные, наглые, хитроумные! Не тем, не тем, кому надо, достаётся слава у нас, в России! Достаётся ловкачам, пройдохам! Истинным же страдальцам и умельцам, истинным талантам – одни плевки и поношения! Эх, Россия, Россия! Глупая, несчастная, заплутавшая!..

Корчась от ярости, Сумароков пошёл мимо Мальцевского рынка; мог бы, конечно, на другую сторону улицы перейти, но нарочно переходить не стал – нравилось ему корчиться. Одни только бандиты, черномазые, да жлобё новорусское здесь собирается. Ишь – вылизали, вылизали на бандитские деньги! А от бомжей-то не избавились, и избавиться не могли. Потому как сами и наплодили. Сумароков сюда никогда не ходил. Если б мог бы поджечь этот рынок – так поджог бы непременно, но не мог поджечь, зато мог осудить, зато мог проклясть, зато мог харкнуть слюною своей залежалой, слюною своей прогорклой, яростной. Он так и сделал: подошёл, да под стену рынка шумно харкнул. Старуха, неподалеку торговавшая семечками да арахисом, опасливо отстранилась от безумного седого мужчины и украдкой прикрыла свой товар. Изгнать, изгнать их всех отсюда, как и Спаситель наш изгнал, пусть и не храм это, а торжище, но всё равно изгнать, чтобы духа здесь торгашеского, жлобского, скотского не было, – вот только что народ наш спасёт, сказал себе Сумароков, писатель земли русской.

Шелестели колёса проворных автомобилей по гудроновому плоскогорью проезжей части, Сумароков прошёл ещё квартал, и гнев стал понемногу затихать в его усталом сердце. Из-за угла улицы Радищева вывалила толпа гогочущих парней послепубертатного возраста и смело пошла на Сумарокова. Писатель напрягся; ну он сейчас встретит их отповедью, он им покажет сейчас силу слова своего гневного, безразмерного! Парни мимо прошли, один даже задел Сумарокова, Сумароков шарахнулся к стене дома, отскочил, оскалился и потом долго смотрел с ненавистью парням, этим волчатам, этим зверёншам вслед. Чёрт, если б у него была с собой трость! нет, не трость – костыль!.. Он даже согласился бы быть хромым или одноногим для этого. За правду нужно платить, за ненависть тоже; он, Сумароков, согласился бы платить за то и другое. Если б он был хромым и ходил с костылем, вот тогда... он бы поднял костыль над собою, он бы крушил яйцеголовые оконечности этих подлых молокососов. Он бил бы по этим головам с мозгами без извилин, он поубивал бы их всех до единого, он даже готов был бы потом принять кару. Да-да, кару, проклятие, наказание! Впрочем, какая кара может быть за этих недоумков? Это ведь тоже самое, что истребить бешеных псов, что истребить волчье племя. Нет у нас, нет у нас молодёжи нормальной, нету! Он так это и на суде скажет, если нужно будет, если оболгут, если опутают, если призовут к ответу. Нет, он не станет молчать! Просрали, всё просрали, и молодёжь тоже просрали, лишились будущего своего! Так вам и надо, так вам и надо, уроды земли русской!

Павел Васильевич обернулся украдкой. Он хотел убедиться, не видел ли кто, как он ступал сейчас перед этими упругими волчатами. Но кажется, не видел никто. Людишки шагали угрюмо, ни на что не обращая внимания; убивать кого станут – они и тогда внимания не обратят, конечно. Тащила тётка с кошёлкой, из которой, как из колчана, торчали кривоватые стрелы макарон. Толпился дряненький народец на остановке, впрочем, вполне собой удовлетворённый народец. Через дорогу в палисаднике целовались парень с девушкой, хорошо целовались, красиво, соблазнительно. В его время так не целовались (на людях, конечно). Потом вдруг оторвались друг от друга и, взявшись за руки, быстро-быстро зашагали куда-то.

«Ну вот, – понимающе сказал себе Сумароков. – Минет пошли делать».

Два голубя семенили по карнизу, и оба гадили на ходу. На карниз гадили, да на тротуар. Чего ещё ждать от голубей? Подлые птицы! Подлые птицы подлого мира! Сумарокову вдруг показалось, что кто-то за ним наблюдает со стороны. Да кто, собственно, мог наблюдать за ним? некому совершенно наблюдать за ним!.. Разве какой-нибудь старинный знакомый? Или даже поклонник? Сумароков обернулся ещё раз, и где-то далеко, метрах в пятидесяти от себя заметил фигуру статного красивого человека с темнокожим лицом, с блестящей бритой головой, будто негра или мулата; кажется, он и смотрел на Сумарокова. Но зачем ему смотреть на Сумарокова? Совершенно ведь незачем. Нет у Сумарокова никаких знакомых среди черномазых, нет и не будет, – так вот и знайте себе! Никогда! Сумароков отвернулся с негодованием, но потом отчего-то не выдержал и ещё раз поискал в толпе того негра или мулата, кото-

рого видел только что и который будто наблюдал за Сумароковым. Но там, где был мгновение назад чернокожий незнакомец, уже никого не было. Всякий другой народишко был, мулата же не было. Будто исчез, испарился мулат.

«Чёрт! – раздражённо сказал себе Сумароков. – Могу примириться с любыми призраками. Но с тем, что они черномазые!.. Нет уж, благодарю покорно!»

Забытая больная

Я, я, кто это я? разве есть я? последняя буква алфавита? как это глупо! а я меньше даже буквы, меня и вовсе нет, или – нет: я есть, но не стану есть, и всё, что во мне есть, – всё сохнет, уменьшится и не станет вообще. Вот тогда меня не будет. Придут меня искать – а меня нет. Придут, кто придёт? тот, кто приходит каждый день? я видеть их не могу, глаза мои их не видят. Мои глаза. Не видят их. А их – меня? Глаза, то есть. Может, и они не видят меня. Они смотрят сквозь меня. И разговаривают не со мной, им меня не надо. Для них пустое место важнее человека. Они температуру меряют у пустого места. Температура пустого места. Лучше б они мерили моё иступление. Оно сегодня меньше обычного, ничего не скажешь. И ничего не спросишь. Иступление моё сегодня не выходило из норки. Не надо никого пугать. Не буду никого пугать. Да, решено.

Дайте, дайте мне каши! Не считайте меня безнадёжной! Почему не приходят и не дают мне каши? я люблю кашу, особенно сладкую и на молоке. Я пшённую люблю. А у них всё чаще нет молока. Молока нет. Как же возможно, чтоб не было молока? что же есть, если молока нет? Разве за это мы боролись, чтоб не было молока во всей больнице? Иногда молоко есть, но это как будто они делают одолжение. А какое ж молоко – одолжение? Молоко – это молоко, а не одолжение. Впрочем, я чувствую, что запуталась.

Тревога, вчера была тревога. А зачем мне тревога? Дайте мне что-нибудь от тревоги. Какие-то таблетки. Раньше мне давали их много, сейчас не дают ничего; думают: бесполезно. К чему на меня переводить дорогие лекарства? Мне говорили, что мне помогут. Что ж не помогают? Мне говорили, что мне помогут, если только я помогу себе. Как же я могу помочь себе? Пусть расскажут, если знают сами. Не знают, ничего не знают, только делают вид, а зачем делать вид? я сама могу делать вид. Вы дайте мне не вид, а содержание. Дайте мне что-нибудь от тревоги.

Вокруг много других женщин, но я с ними не говорю. О чём мне говорить с ними? у них свои мысли. Какие у них мысли? К ним приходят по воскресеньям, ко мне не приходит никто. А почему? Разве я старуха и никому не нужна? Никому не нужны не только старухи. Да, верно. Да, ложно. Никто никому не нужен, и сами мы себе не нужны тоже. Плохо только, что я не бываю одна. Мне лучше быть одной, всегда быть одной, чем с чужими. И этим-то моим свойством и воспользовались. Сегодня утром. Перед самым рассветом. Когда вокруг все храпели, а я проснулась и спать не могла, и задыхалась от отвращения. Ещё была тревога. Тогда вдруг дверь приоткрылась, и я не увидела, но только поняла, что кто-то пришёл. Что пришёл он. Ждала ли я его? Нет. Но предполагала, что это возможно. Здесь возможно всё.

Он был легче дуновения сквозняка, легче взгляда, легче падающего листа, я не слышала его передвижения. По этому полу невозможно ходить бесшумно, тот скрипит, будто плачет. А он уверенно скользил между всех спящих женщин. И тогда я накрылась одеялом с головой, я была в тоске. Тоска моя была, как горький неизбывный сироп, сироп полыни, сироп лебеды; невозможно было упиться этим сиропом. Тоска моя даже горше этого тягучего напитка. Изведайте тоску мою, напиток мой и мою пищу! А он уже сидел рядом со мной, знала я. Я медленно, с похолодевшим сердцем стянула одеяло со своего лица и увидела его, сидящего. И рука его уже тянулась к моему лбу. Я позволила ему погладить себя; зачем я только это ему позволила? Так гладят ребёнка перед сном, так гладят умирающего. Он был молод, он был в белом халате, как доктор, но разве он был доктор? Кожа его была каштановой, шоколадной, обритая голова его блестела в предутренней просини. Каким-то немыслимым, потусторонним одеколоном пахло от него. Сразу было видно, что он очень высок и строен, даже сидящий. Может, он учится здесь в медицинском институте, подумала я, и пришел сюда на практику? В ночную смену, что же здесь удивительного?! И что ещё можно было выдумать для того, чтобы себя обмануть?

– Хочу лечь рядом с тобой, – шепнул он мне. – Подвинься.

– Будет слышно, – ответила я тоже шёпотом. – Мы всех перебудим. «Мы»... Я сказала «мы»...

– Они спят, – сказал он. – И ничего не услышат.

Не могло быть, чтобы никто ничего не услышал, как он утверждал. Он нависал надо мной всё более, рослый, красивый, с упругими мускулами, должно быть, спортсмен: бегун или метатель копья, и то и другое было возможно; и что мне ещё оставалось делать? Что ещё оставалось? Только подвинуться, позволить ему лечь рядом.

– Я уже почти старуха, – сказала я. – Зачем я тебе?

– Для меня ты не старуха, – возразил он с приятным акцентом.

Быть может, родной его язык французский или испанский. Какой же язык был ему родным? – гадала я.

– Кожа твоя молода, – сказал он.

Конечно, он обманывал меня, но я задохнулась от счастья.

Он был близок, удивительно близок, он был совсем рядом, от него нельзя было отстраниться.

– Кровать будет скрипеть, – слабо ещё сопротивлялась я.

– Не будет, – спокойно сказал он.

Откуда же он это знал? И правда, кровать будто послушалась его и не стала скрипеть, хотя он лежал рядом, тяжёлый, могучий и великолепный. И места ему вполне хватало рядом со мною.

Он стал трогать мою грудь, зачем он так трогает мою грудь? кто научил его так трогать? Я не знала, что моя грудь способна ещё что-нибудь ощущать. А ещё он стал растёгивать мой халат, без спроса, без разрешения; он знал, что я не смогла бы ему отказать.

Откуда он здесь взялся? Зачем он здесь? Может, он здесь на практике... на какой практике? и приехал из своего Алжира или Мозамбика, где все такие – с шоколадными лицами, самоуверенные и мускулистые? Но мне не нужны все, мне не нужен никто больше, мне нужен только он, это я знала твёрдо.

– Я здесь на практике, – шепнул он мне вдруг в самое ухо. Ну да, так я ему и поверила! Хотя – а попробуй я не поверь!

Палец его скользнул по моему животу и вдруг запнулся на пупке. Главный шрам начала жизни. Великий шрам. Жизнь начинается здесь. Палец его будто испугался, хотя не мог он испугаться, чего ему пугаться, собственно? Я поёрзала, стараясь устроиться поудобнее. Спящие мои соседки всё ещё смущали меня. Но только не его; его не смущали. Как будто он управлял их снами, он был хозяином их снов, он не давал им никому проснуться, и я должна была быть ему за то благодарной.

Потом он делал ещё что-то, отчего я всё больше забывала себя. Какая неведомая практика привела вдруг тебя ко мне, на мою бедную, нелепую, страдальческую постель? Практика здесь, на этой постели? Ах, как это было хорошо!

И тогда он вошёл в меня, вошёл стремительно, жадно и безжалостно. А я даже и не заметила, когда он успел добраться до цели. Он раскачивался, он содрогался, я раскачивалась и содрогалась вместе с ним в такт. Я помогала ему, я подгоняла его, я вжималась в его тело, я подчинялась ему. Но он и сам знал, как всё нужно было делать, его ничему не нужно было учить; о, он потрясающ, он великолепен! Он единственный! Откуда, откуда только берутся такие практиканты?!

Вот он вдруг извернулся, застонал, застыл на мгновение и вдруг обрушился на меня водопадом, орудийным залпом, смерчем, молнией; блистательные конвульсии сотрясли его непостижимое, немислимое тело. И меня вместе с ним сотрясли конвульсии. И меня вместе с духом и смыслом его, каковых я не знала прежде, каковых я не знаю и теперь, но лишь про-

зябала всегда в подспудном ожидании их триумфального появления. Он позволял мне дышать тяжело, он позволял мне дышать мучительно.

Многое потом поменялось, я поменялась, жизнь моя поменялась, и эта кровать, и эта палата, и мои несчастные соседки, и двор, тот, что за этими стенами, и даже сам город. Всё стало другим, лишь он, рядом лежащий, был прежний, удивительный, удивительный!

– Ты теперь уйдёшь? – сказала я, едва отдышавшись.

Он промолчал. О, если бы я только могла выйти отсюда, выбраться за эти стены! Я была бы впрямь осмотрительной и ни за что не позволила моему несчастью застать меня врасплох. Я была бы свободной и ощущала бы каждый день, каждый миг жизни как подарок, как несомненный подарок. Я жила бы долго, и годы более не прибавляли мне ни морщин, ни ссадин, ни болезней. Или я теперь обманываю себя? Наверняка обманываю. Быть может, я бы вышла отсюда для того только, чтобы принять смерть внезапную от мчащегося мотоцикла, от разорвавшегося баллона на площади возле метро. Или, может, я упала бы на рельсы перед электричкой. Упала с платформы, когда та подлетает, гремя своими ужасными стальными колёсами. О, я стала бы избегать всех газовых баллонов, я держалась бы от них подальше! Спасите меня от мотоциклистов, от газовых баллонов меня спасите, уберите их от меня! Уберите! Уберите!

– Возьми меня с собою, – попросила я его одними губами.

– Ты нужна мне здесь, – сказал он мне. – Я буду приходить к тебе сюда.

– Сюда не пройти, – сказала я. – Здесь всё на замках.

– Я же здесь, – возразил он мне. – От меня нет замков.

Да, он был здесь, это правда. Он всё ещё был здесь. Лишь несколько мгновений или минут я была с ним. Значит он уйдёт теперь, и я не смогу удержать его, даже вцепившись в его белоснежный халат, так оттеняющий его смуглую кожу, и я опять останусь одна посреди этих глупых несчастных женщин, останусь старой и забытой больною, к которой не приходит никто, и вот лишь только его появление однажды перевернуло, однажды взорвало мою жизнь!

Павлик, Павлик!..

Петроградка. Смутная зона

Фряликов пролетел Каменный остров, почти даже его не заметив. Он только остановился на Ушаковском мосту, тупо глядел в воды Большой Невки, крепко вцепившись в перила, и ветер обдувал его вспотевший лоб и редкие всклокоченные волосы за ушами и на затылке.

– Зачем рождаемся? Да вот зачем мы рождаемся? А потом подышаем! А? – кричал он воде и небу. Сзади и спереди не было никого, пешеходы будто повымерли, и лишь равнодушные автомобили бессмысленно пронеслись мимо. – Какая сволочь придумала, чтоб было так? Да ведь это просто даже нелогично, разве не правда? – объяснил ещё Фряликов парящей неподалеку чайке. Чайка послушала немного, потом, отвернув остроносую головку, спикировала на воду в поисках чешуйчатого провианта, но Фряликов к этому времени и сам уже забыл о чайке. – Ведь это же сколько усилий! Сколько энергии! Сколько биомассы! – убеждал хормейстер пыльные облупившиеся перила. – И ведь зачем, зачем это? Вы объясните мне смысл! Вы объясните мне значение! Ага, не можете?! Я так и думал! Я в этом и не сомневался! – торжествующе провозгласил он и зашагал дальше по мосту. Иногда он ожидал всеобщей растерянности перед уникальностью его сверхъестественных внутренних обстоятельств.

«А может, я сегодня на пути к мировой власти, – сказал себе Фряликов. – Всякое ведь бывает! Может, мои ощущения и мои мысли есть обязательное условие для неё. Может, ко мне завтра придут и сообщат: раз вы так ощущаете, раз вы так думаете, так ступайте теперь главенствовать над нами над всеми. А? – сказал Фряликов. – Разве не правда?!»

Чёрт побери, столько уверенно-неправильного, агрессивно-причудливого, к тому же подёрнутого дымкою своеобразия и безнадежности, не создал ни один из ныне здравствующих или недавно ушедших. Разве ж это само по себе не стоило иных разудалых лавров? И все ведь, вроде, согласны, все согласны, однако же вовсе не спешат оценить его, Фряликова, трудов!

На Каменноостровском мосту он уже не стал задерживаться, он ощущал себя резонёром-триумфатором. Оголтелые его триумфы были не от мира сего. Заложив руки за спину и ссутулившись, он быстро шагал одной из своих самых неукротимых синкопированных походок. Грудь у него болела, в области сосков, и, вроде, стала даже припухать. Кто бы мог сказать, что за воспаление было теперь в его возмущённой груди?!

– Вы запишите! – крикнул он возле Лопухинского сада. – Запишите в свои мерзкие скрижали смятение, смятение моё запишите! Вы начертайте! Нанесите письмена! И в конце подпись: «Ипполит Фряликов». Так-то! – крикнул ещё он. – Тоски моей имя – «Ипполит Фряликов»!

На остановке толпилось немного народу, на него стали оборачиваться, и Фряликов сам устыдился своего крика. Что за город такой, что в нём нельзя даже слова сказать громко?! Прислушивается всяк в сём городе к чужим словам, но пренебрегает ими всеми, дерзкими или сентиментальными. Шпионит и сам город за словами, но впрок они ему не идут. Пуст и косноязычен этот град, как и люди в нём пусты и косноязычны. Словесная немощь в насельниках здешних муторных территорий. Нет, есть и говоруны, конечно. Но лучше б они уж не были говорунами! Позорят, позорят слово иные носители его! Бесчестят самое его устройство, сам способ существования! Петербург! Петербург! Оскудельный сей город, хладный, заносчивый, злоречивый!..

Лопухинский сад был как всегда тих и хорош; ну так тем хуже было для сада и для самого Фряликова. Он не собирался слоняться по саду, как все эти обормоты, те, что слоняются, те, которым заняться больше нечем. Вот если б у Фряликова было бы теперь дело, он показал бы всем, как нужно работать, он показал бы пример самоотверженности, в этом можете даже не сомневаться. Фешенебельные здания в конце Каменноостровского раздражали его своей бесчеловеческой фальшивой помпезностью, и Фряликов даже перешёл на другую

сторону проспекта, чтобы держаться от тех подальше. А потом так и вовсе нырнул во дворы и прошёл дворами, мимо убогих покосившихся Кировских домишек, в Вяземский переулок. Здесь было потише, и если бы не трамвай, временами грохотавший в полусонном переулке, место было бы вовсе удобоваримым.

Но Фряликову было вовсе не до красот. Да, всё дело в его мочевом пузыре. Всего-навсего. А вы-то что подумали? Ему нужно было поссать где-нибудь, но чтобы найти поблизости туалет, на то даже и надеяться не приходилось. И вот ещё эти проклятые приличия: не мог же Ипполит Глебович, интеллигентный человек, стать вот так и мочиться прямо на улице. Другие могут, а у него – приличия, делайте вот с ним, что хотите! Сами-то можете ссать где угодно, если вам приспичило, а Фряликову даже и не предлагайте ничего подобного. Он не станет этого делать без самой крайней нужды.

– Что за величественный был проект! – пробормотал Фряликов. В мыслях и ощущениях его бывали нередко иные тоскливые константы. – Прекрасный, удивительный! Проект под названием «Фряликов». Столько в нём смысла... и красоты! А сколько таланта!.. И что? Вот взял так вот и рухнул! И ведь всего лишь небольшое недопонимание! И ведь всего лишь ошибка в чертежах! Что же это такое?! Сиракузы! – крикнул вдруг ещё Ипполит Глебович. – Сиракузы! Не уберегли своего Архимеда! Теперь вот также и меня хотят не уберечь! У, Сиракузы проклятые!

Хормейстер заметался. Он перешёл дорогу, стал соваться в подворотни, но где-то наткнулся на дворничиху. Вот он уж пристроился за помойкой в одном открытом зелёном дворе, но вдруг увидел неподалеку парней, пьющих пиво на скамейке. Эти могли и вовсе накостылять, даже одной потехи ради. Хотя сами-то они могли ссать там же, где и Фряликов теперь стоял, или даже там, где пили пиво, возле скамейки, но Фряликову-то накостыляют непременно. Ипполит Глебович торопливо пошёл со двора. Парни провожали его своими наглыми взглядами. Теперь так трудно поссать интеллигентному человеку, когда он идёт по городу со своими самыми лучшими намерениями! А уж у него-то, у Фряликова, намерения вполне неплохие. Да, почти невозможно! В смысле – поссать!.. Это они вообще нарочно делают так! Разве ж этот город для людей построен? Нет, он вовсе не для людей построен, но будто для одних только машин железных и для духов подземных, злых, бестелесных...

Фряликов снова перешёл Вяземский переулок и углубился во двор, состоящий из Кировских развалюх. Мочевой пузырь Фряликова вот-вот уже мог лопнуть. И тогда Фряликов заскочил в первое попавшееся незапертое парадное. Многие парадные, впрочем, там не были заперты; такие трущобы ещё и запирают, так только деньги переводить впустую. Укрывшись за входной дверью, Ипполит Глебович трясущимися руками стал расстёгивать брюки. Вот крикая струйка хормейстера стала побрызгивать на дверь и на пол; пусть будет всего лишь двадцать секунд наслаждения, но все двадцать секунд будут его, Фряликова, сказал себе он. Но вдруг он услышал шум, совсем рядом, шаги, даже как будто детские, и с лестничной площадки в тамбур выглянула девочка и, увидев Фряликова, вдруг прыснула и метнулась обратно.

– Мама! Мама! – крикнула она, взбегая по лестнице через ступеньку. – Здесь дяденька писает.

Фряликов дёрнулся, поспешно застегнул ширинку, слегка обмочив брюки от неожиданности, и выскочил на улицу.

Так что ж, он испугался девчонки, которая застучала его? Да нет же, ему наплевать на девчонку, она – девчонка, а он – хормейстер, он уже состоялся, можно сказать; его ужаснуло другое. Другое было куда хуже, чем какая-то девчонка, неожиданно подвернувшаяся и не позволившая ему спокойно поссать. Его член... Его орудие радостного труда... Его член, который он нащупал пальцами и который вдруг стал совершенно чужим: уменьшился, изогнулся, заострился, будто атрофировался, превратился в какую-то паскудную стрелку, в какое-то макаронное изделие, норовящее к тому же прилипнуть, прирасти к его шершавой, в редких волосиках

мошонке. Но и мошонка его вовсе не осталась без изменений, сообразил вдруг Фряликов. Она тоже уменьшилась, и в ней как будто даже обозначилась прорезь, да-да – прорезь, несомненно – прорезь, из которой, как и из его члена, также сочилась моча, хотя пока ещё и не могла сформироваться в струйку.

«Превращаюсь?! Превращаюсь?! – панически кричал себе хормейстер Фряликов. – В кого превращаюсь? В кого?»

Он побежал по переулку, от воды, от реки далее, далее, от крика чаек, от шума транспорта, от запаха близкого залива, от сизых туч, равнодушно плывущих над Каменным островом и над Выборгской стороной, и от них тоже бежал Фряликов. От своего открытия проклятого, несуразного мчался хормейстер.

Фряликов задыхался. Он остановился с горящей и теснящейся грудью и постоял немного, дыша тяжело. Он томился тоскою несказанной, отчаянием небывалым; над Свято Иоанновским женским монастырём запели колокола, зачем они запели? Отчего? Не надо петь никаким колоколам, точно не надо! Они и Бога не растревожат, и человека не просветлят. Фряликов глотнул воздуха, закашлялся, мотнул головой, и его тут же вырвало. Какая-то прохожая старуха шарахнулась от хормейстера, согнувшегося в срамной позе. Впрочем, что поза?! Плевать на позу! Много существует разных поз, в которых нет никакого достоинства. Человек и срамная поза вообще нерасторжимы, человек это и есть срамная поза. Фряликов перебежал на несколько метров вперёд, скрючился, и его вырвало снова. И это было хорошо, в этом было облегчение, будто незримая телесная пробка вышла из хормейстера, голова его прояснилась на мгновение, очистилась, облагородилась, и лишь тоска его оставалась прежней.

Путь Сумарокова

В забегаловке на Жуковского Павел Васильевич Сумароков выпил сто грамм водки и закусил бутербродом с душистой килькой и полупрозрачным, будто мраморным, ломтиком лимона.

Злой дух города притаился в каждом его (города) закоулке, в каждой улице, в каждом особняке, во всякой урне заплёванной, во всякой телефонной будке, во всяком поребрике тротуарном, во всякой ступени в парадном. Он поднимался на поверхность земли вместе с эскалаторами метрополитена, он нисходил с чердаков зданий, зданий иногда жалких, иногда обыденных, иногда грандиозных. Дух этот был во всяком съеденном бифштексе, во всякой слюзганной семечке, во всякой выпитой кружке пива. И в двух стопках, выпитых Сумароковым, также был этот злой дух. Сумароков и выпил-то эту водку со злобой, на скорую руку, чтобы залить свою злобу, чтобы подкрепить, утвердить, чтобы приумножить её. В злобу свою Сумароков верил, гордился ею и ни за что не хотел расстаться. Злоба его была творческой, созидающей; кто ещё с таким значением и с таким достоинством носит в себе злобу свою?! Никто не носит! Мир на злобе замешен, и злобою единой сей мир только и понять, и поверить возможно!

А было так: ныне уж случился обеденный час, было сколько-то там пополудни, и в забегаловке народ брал горячее и напитки. Сумарокова здесь знали; впрочем, знала только буфетчица Люба, и писатель земли русской сразу же прошагал к ней своей непримиримой походкой, к тому же заложив руки за спину, как заключённый на прогулке.

– Здравствуйте, Павел Васильевич, – первой поприветствовала Сумарокова буфетчица.

– Люба, – подслеповато разглядывая витрину, говорил Сумароков. – Налей мне сто грамм и дай вот этот бутерброд с рыбкой.

Впрочем, было ещё некоторое движение, когда Сумароков только вошёл в забегаловку: все как-то с особенным единодушием посмотрели на него. Почтительно или пренебрежительно посмотрели на него – Сумароков не понял; одно так просто можно перепутать с другим. Пушкин не совсем прав: мы ленивы и нелюбопытны – это-то справедливо. Но уж по сторонам попусту поглазеть любим. Просто нас даже и хлебом не корми. Глазеньё по сторонам это и есть высший вид нашего любопытства и едва ли не всё вообще предназначенье земное наше, да точно: в сём и заключается природное русское предназначение. Хотя с этим, пожалуй, не всяк согласится.

«Узнали? – подумал Сумароков. – Или я теперь уж слишком бросаюсь в глаза? Чем это я могу так бросаться в глаза?! Может, надел что-то навыворот?»

Бледная девушка, сидевшая за столиком у окна, стала даже привставать на месте и смотрела на Сумарокова неотрывно. Ещё немолодой господин в чёрном костюме, пивший одну минеральную воду, посмотрел на Сумарокова, потом отвернулся, но после, будто не умея сдерживаться, несколько раз посматривал коротко на писателя.

Первую стопку Сумароков выпил сразу, пока ещё стоял подле Любы. Вторую и бутерброд с килькой Павел Васильевич понёс на тарелке к столику неподалеку от столика бледной девушки.

– Никто не хочет бежать со мной стометровку, – пожаловалась девушка, когда Сумароков ставил тарелку.

– Что? – спросил Сумароков, застыв на одном месте.

– Стометровку. Бежать не хотят, – объяснила девушка.

– Кто?

– Все. Я прошу их пробежать со мной, но никто не соглашается. А ведь это так просто!

– Зачем? – недовольно спросил писатель.

– Что?

– Бежать зачем?

– Ну как же, – с тусклой убеждённой стала говорить девушка из-за соседнего столика. – Ведь стометровка это ровно сто метров. Ни сантиметром больше. Я прошу их пробежать, но никто не бежит.

– Кто не бежит? – снова спросил Сумароков. Он быстро опрокинул в себя стопку водки, извинился и стал закусывать килькой.

– Никто. А ведь это красиво. Вода кипит при ста градусах. А здесь ровно сто метров. И надо их пробежать. Не девяносто девять и не сто два. А именно сто. А вы бы не согласились?

Сумароков оглянулся, ему показалось, что все наблюдают за ним, что это какая-то западня, ловушка. Он посмотрел на полку с бутылками за спиной у буфетчицы Любы. И бутылки тоже были его врагами, некоторые из них скалились, другие, вроде, грустили, а одна из них – так, вроде даже – цинически подмигнула ему. Зачем ему подмигнула бутылка? Могут ли бутылки подмигивать? Что это вообще такое? Подмигивают люди! Писатель земли русской похолодел.

– Я? – спросил Сумароков.

– Ну да, вы, – сказала девушка.

– Я уже не молод, – сказал он и украдкой снова огляделся по сторонам. На сей раз было пристойнее, никто ему не подмигивал, никто с ним не фамильярничал. – Я могу и вообще не добежать.

– Ничего. Я быстро не побегу, – сказала девушка. – Скорость не так уж важна. Можно даже вообще пройти шагом. Хотя, конечно, всё-таки пробежать лучше.

– А что важно?

– Расстояние. Ровно сто метров.

«Она сумасшедшая», – сказал себе Сумароков.

– Может, со мной не хотят бежать оттого, что считают меня сумасшедшей? – печально предположила девушка.

– Наверно, просто не хотят утруждать такую очаровательную особу, как вы, – нескладно пошутил Сумароков.

– Ничего во мне нет очаровательного, – сказала девушка. – Да мне и не надо этого. Просто мне нужно пробежать стометровку с кем-нибудь, вот и всё. А вы тоже не хотите.

– Да нет, почему же, – пробормотал Павел Васильевич. – Просто это как-то неожиданно.

Он посмотрел на девушку и вдруг увидел, какая та дурнушка; ничего очаровательного в девушке и впрямь не было, или оно, может быть, было за мгновение до того, да вдруг всё вышло, как воздух из проколотой шины; к тому же это ещё её нелепое желание, эта её непонятная мания... Впрочем, фигурка у девушки была, пожалуй, неплохая, этого у неё не отнимешь. Буфетчица Люба делала руками какие-то знаки Сумарокову, или нет, не делала, но просто смотрела весьма выразительно; а вот, наконец, и господин в чёрном костюме встал из-за своего столика и шагнул в сторону писателя и его случайной собеседницы. Павел Васильевич готов был уцепиться за пришельца, как за соломинку.

«Ну что у вас здесь такое?» – будто говорило хмурое и словно даже страдальческое лицо господина в чёрном костюме. Как если бы всю неимоверную бессмысленность бытия мучилось лицо господина.

– Простите, – говорил пожилой человек.

– Да, – сказал Сумароков.

– Вы ведь писатель, кажется. Я только забыл вашу фамилию.

– Сумароков, – приосанившись, говорил Павел Васильевич. Была вдруг минута успеха, была минута справедливости, минута торжества; так редко в жизни случаются подобные минуты!

– Ах да. Павел Васильевич, кажется.

- Точно так, – подтвердил Сумароков.
- А я, – сказал господин в чёрном костюме, – Нежноп Иван Иванович. Бухгалтер. Профессия моя – бухгалтер. Очень ответственная, знаете ли, по нынешним временам профессия.
- Очень приятно, – кисло сказал Сумароков. Что уж они так все слетелись на него? Русский человек не пьёт водку один, это нормально; но разве уж у него не осталось и права выбора компании для себя? Разве он должен теперь пить водку, когда на него так глазают все эти... как на витрину какую-нибудь. А он не витрина, он – писатель земли русской.
- А вы? – сказала девушка из-за соседнего столика.
- Что ещё? – спросил пришелец.
- Стометровка, – объяснила девушка. – Может, вы согласились бы?
- На что согласился? – сухо спросил ещё тот.
- Пробежать её вместе со мной.
- Прекратите вы! – сказал господин в чёрном костюме. – Если вы больны, так лечитесь или сидите дома. Именно так: лечитесь или сидите дома!
- Что?! – вспыхнула девушка, вскочив из-за столика. Она схватила с вешалки ветровку и гневно выбежала из забегаловки.
- Ну зачем же так?! – вступился вдруг Сумароков.
- Простите, – сказал Иван Иванович. – Я не знал, что это ваша девушка.
- Все не моя.
- Тем более, что она сумасшедшая. Её здесь все знают. Её так и называют: девушка со сто-метровками.
- Вот как! – буркнул недовольный Сумароков, не знавший теперь, что ещё говорить.
- Но я, Павел Васильевич, человек деликатный и вряд ли позволил себе побеспокоить вас, если бы не крайняя необходимость.
- Сумароков с беспокойством смотрел на Ивана Ивановича: сейчас ещё начнёт на судьбу жаловаться, станет требовать участия, да ещё, чего доброго, и денег попросит. Отчего-то все думают, что писатели богатые. Ни черта писатели не богатые, сейчас не те времена!
- Павел Васильевич, – сказал вдруг Нежноп, сказал другим тоном, который обозначал что-то более прежнего важное и существенное, – не могли бы вы мне помочь повесить племянника?!
- Что? – вздрогнув, сказал Сумароков.
- Да-да, – подтвердил господин в чёрном костюме. – Вы правильно поняли меня. Я прошу вас помочь мне повесить племянника.
- Чьего племянника?
- Моего, разумеется. Не вашего же! У вас, может, и нет племянника, ну а если бы даже и был, какое бы я имел право предлагать вам его повесить? – сказал ещё сей странный человек.
- А почему вы хотите его повесить? – спросил Сумароков. – Своего, так сказать, племянника.
- Не «так сказать», а самого что ни на есть племянника. Уверяю вас, это действительно мой ближайший родственник. Я его с младых ногтей помню и всегда принимал посильное участие в воспитании мальчика.
- Ну, пусть будет так. Почему ж его вешать-то?
- Да он сам этого хочет, уверяю вас. Он с давних пор одержим мыслью о смерти. Он даже лечился... вернее, мы его лечили, но ничто не помогает. Очень тяжёлый случай!
- Не помогает? – переспросил Сумароков.
- Абсолютно, – мотнул головой Иван Иванович Нежноп. – Он и на Пряжке лежал, и к экстрасенсу его водили, и бабушки над ним шептали, и батюшка его крестил, и всё без толку: умру, говорит, себя истреблю или пусть кто другой меня истребит – всё равно жить не буду. Ну, может, не совсем в этих словах, но смысл такой.

– А сколько лет-то племяннику вашему? – тяжело подумав, спросил ещё Павел Васильевич.

– Двадцать четыре, – с сожалением отвечал Нежноп. – Жить бы и жить, но нет, не хочет. Вы вот в двадцать четыре много задумывались о смерти? Сомневаюсь! Хотя вы и писатель. А он не может жить, не хочет и не умеет. И потому я как дядя самых честных правил, видя, что родной племянник мучается... и тоже честных правил... у нас в семье все такие... наконец, сказал себе... и ему тоже: не получается – так и не надо. Пусть другие живут, у кого получается. Или кто чувствует не так. Родители мальчишки, конечно, поначалу в слёзы, но слезами горю не поможешь. Вот и они наконец примирились, махнули рукой.

– Ну, если так, взял бы сам давно и повесился! И никому другому предлагать не надо было бы.

– Да он хочет! Хочет! – замахал руками господин в чёрном костюме. – У него только духа не хватает. А так у него даже верёвка припасена, и крюк над окном приготовлен.

– Ну, а я-то при чём здесь? – спрашивал Сумароков. – Я ведь даже не знаком с этим вашим племянником.

– Да это неважно. Совершенно неважно, что не знакомы. Вы ведь, Павел Васильевич, душ человеческих инженер. И можете с ним поговорить по-инженерски, так сказать... Объяснить ему, что и как! Пристыдить, приструнить! Но позвольте, я прежде угощу вас водочкой. Прошу вас, не стесняйтесь, пожалуйста, и не отказывайтесь!

– Но только пятьдесят грамм, – предостерегающе сказал Сумароков.

– Пятьдесят, пятьдесят! – замахал руками Нежноп. – Мы, мужчины, пожившие, так сказать... норму свою всегда соблюдаем.

Иван Иванович пошёл к стойке, Сумароков посидел немного, но смутное беспокойство гнездилось в его душе. И тогда он встал, и поплёлся за Иваном Ивановичем.

– Любочка, – сказал Нежноп. – Нам, пожалуйста, с Павлом Васильевичем по пятьдесят водки.

– Какой? – сухо спросила Люба.

– Нашей, но самой лучшей, – сказал Иван Иванович, издали рассматривая бутылки над головой Любы. – Мы же с Павлом Васильевичем люди русские как-никак. И колбаски вот этой вот, копчёной, – сказал ещё он. – Тоже отечественной.

– «Госдумовки» или «Пропойной»? – уточнила ещё Люба, разумея под сим марки напитка.

«Госдумовка» была отвергнута, остановились на «Пропойной».

Люба стала наливать. Сумароков топтался за спиной у своего нового знакомца.

– Хорошо, что эта ушла, – сказала Люба, не отрывая глаз от прозрачной мензурки. – Она часто сюда ходит. Ей бы только эффекты производить. Я ведь тоже так могу: «Пробегите со мной стометровку! Пробегите со мной стометровку!» Но я же так не делаю... Ведь до чего же есть бессовестные женщины, – вздохнула ещё Люба.

– Да, – сказал Иван Иванович.

Мужчины вернулись за столик Сумарокова.

– Ну, Павел Васильевич, – сказал господин в чёрном костюме, – давайте за то, чтобы жили те, кому живётся, а те, кому не живётся, уж и сами не жили бы и другим жить не мешали.

В этом скоропалительном тосте было что-то не то, что-то несправедливое, что-то двусмысленное, чувствовал Сумароков, ну да мало ли за что пьётся у нас водка! Бывает, за такое пьётся, за что не пить надо, а только плюнуть, огреть иным бранным словом, перекреститься, да уйти восвояси. А ведь пьётся, пьётся себе, и ничего. Водка всё стерпит: и грязь, и красоту, и слёзы пьяные, и сантименты французские, и снобизм паскудный, английский, и проклятия неземные, и славословия фальшивые, и праздник на душе, и боль да тоску сердечные! Водка и очернит, и омоет, и соблазнит, и на путь выведет, и лишит памяти, и просветлит память,

и тайники её откроет, и очевидное затемнит, не без этого тоже. Водку дьявол сочинил, да Бог одобрил, и льются, льются реки её в душах русских, и что пред реками теми Волга да Енисей?! Ничто Волга да Енисей пред реками водочными в душах русских! Ничто, так вот и знайте себе!

Опрокинули в себя стопки Сумароков и Нежноп. Ворвался напиток дьявольский, обжигающий в жилы их немолодые.

– Ну, а может, – спросил Сумароков, отдышавшись вскоре да живописно колбаской копчёной закусив, – племяннику-то вашему поучиться пойти чему-нибудь? Или, например, поработать? Так чтоб у него и времени было поменьше на мысли-то всякие...

Иван Иванович аж руками всплеснул.

– Да, Господь с вами, Павел Васильевич! – сказал он, и потрёпанные брови его взлетели до середины лба. – Да неужто вы думаете, что мы не пробовали? Всё, всё пробовали! И учился он, и работал! И работы-то ему такие подыскивали, что не всякого возьмут! И вот теперь, положи руку на сердце, говорю вам: нет, нет никакого другого выхода. А выход... он только один!.. – брови Ивана Ивановича снова схлопнулись, будто ставя точку, будто подводя итог. – И, вы знаете, какой!

Сумароков задумался. Посидел, посмотрел в гранёную стопку свою. Ответ он разве какой-нибудь хотел отыскать в ней? Не было в стопке ответа, и не хотел отыскать его там Павел Васильевич. Будто тучи грозовые нависли над тяжёлою фигурой писателя земли русской.

– Что ж, – наконец, говорил он, из оцепенения своего немислимого умственного выходя, – значит, грех на душу брать?

– Да какой грех?! Какой грех?! – радостно заверещал господин в чёрном костюме, слегка покрасневшись лицом. – Вы просто племянника моего не знаете! Для него ж это благо, натуральное благо! А о грехе вы даже не думайте, Павел Васильевич, – говорил ещё он. – Нет никакого греха, вы этого даже в мыслях не держите!

Сумароков подумал ещё минуту, тяжело в нём копошилось его нынешнее раздумье, будто земноводное какое-нибудь в густой болотной жиже.

– Что ж!.. – вдруг сказал он.

И вот он, наконец, из-за стола встал, высокий, грузный, статный, седовласый, красивый – настоящий писатель земли русской! Да вот таким, собственно, и должен быть писатель земли русской, в отличие от всех этих заморенных, самолюбивых, мелкотравчатых, кургузых, которые только вид делают, будто они писатели земли русской. Никакие они не писатели земли русской!.. Пусть даже не надеются! Поскромнее бы быть сим самозванцам! Пусть не мнят о себе высоко! Пусть с него берут пример, с Сумарокова!

Нежноп тоже поднялся вслед за Павлом Васильевичем и, деликатно поддерживая Сумарокова под руку, бережно повёл его к выходу.

Сборы

Ей казалось, что всё это какое-нибудь стихотворение, которое скрупулёзно, до желваков, до оскомины воспроизводит приметы и чёрточки её давнего послевоенного прошлого. Возможно, латунный кран на кухне, из которого текла только холодная вода тоненькой струйкой, закопчённый чугунный утюг, который нужно было долго греть на огне, слежавшиеся письма от дяди – красного командира из Брестской крепости, датированные летом 39-го, бабушкины меха, ещё дореволюционные, чёрное плюшевое пальто с чернобуркой, прозрачный хрустальный шар, в который смотришь, поднеся его к глазу, и видишь всё изменённым до неузнаваемости... И сама она будто персонаж такого стихотворения. Быть может, его сочинил Бродский, любивший дебри собственных ассоциаций, ностальгически тянувшийся к своему послевоенному прошлому в квартире на Литейном. Бродский, писавший длинные-длинные фразы, в которые стремился натолкать всё, что засело в его цепкой (или наоборот – расслабленной) памяти. Сейчас-то им восторгаются, но пусть бы они спросили, что помнила о нём она! Она могла бы им порассказать! Впрочем, нет, какой ещё Бродский? Иосиф был мальчишкой, в сравнении с ней, Златой Пискуновой, а её жизнь – это не стихотворение Бродского; если уж на то пошло, так это скорее сентиментальная песенка. Их могли петь Козин или Лещенко, или Владимир Нечаев; вот уж где душа чувствовалась, не то, что у этих, новомодных... Их могли бы исполнять по просьбе слушателей в передаче «Встреча с песней», над которой плачут старички и старушки, она и сама слушала и плакала много раз... В общем, она чувствовала что-то поэтическое – стихотворение или романс – чувствовала в том, как она сейчас движется, о чём думает, в том, что у неё теперь на душе. Плохо только, что она не могла отчетливо припомнить ни одной поэтической строчки, которая бы отображала её нынешнюю.

Тело Маринки было бережно уложено ею на постель, но Злата Аркадьевна больше не обращала на него внимание. Она добрела до старого платяного шкафа, с мутными зеркалами на внутренних сторонах дверец, и раскрыла сей шкаф, бездонный, как её память.

«Он уже здесь! Мой господин уже здесь! – пела душа Златы Аркадьевны. Чувства переполняли её, и ноги её изменяли ей, ноги её отнимались и подкашивались. – Он юный, красивый, мой господин!»

Злата Аркадьевна осторожно вернулась назад и медленно опустилась в кресло. Она была старым человеком, старою женщиной, да нет, что там говорить – попросту старухой, дряхлой и немощной, и ей никак теперь нельзя было упасть оттого, что ей бы вдруг изменили ноги. Елозя ножками кресла по паркету, Злата Аркадьевна вместе с креслом поехала снова к раскрытому шкафу. И сучковатую клюку свою Злата Аркадьевна захватила по дороге. Душная обморочная струя векового нафталина шибанула в сухие старческие ноздри Златы Аркадьевны.

Старуха пошарила клюкой в шкафу и на конце её ведьминога инструмента оказалась затрёпанная бежевая кофточка. Сколько лет было этой кофточке? Казалось, у неё совсем не было возраста; да возможно и впрямь не было возраста. Но уж Злата Аркадьевна-то помнила кое-что. Когда её мужа, врача, арестовали и её мать и даже свекровь сказали в один голос, что ей нужно подумать о детях (она ещё так молода) и срочно подать на развод, что сделала тогда Злата Аркадьевна? Она надела эту самую кофточку и отправилась... куда надо, туда и отправилась Злата Аркадьевна. И что она сказала там, или что она сделала, это тоже знать другим необязательно. Но мужа её выпустили через три дня. А это что-нибудь да значит. Вы что, считаете, что это ничего не значит? У других-то расстреляли тогда мужей, отцов, братьев. Была бы другая кофточка, может, тоже добилась бы своего Злата Аркадьевна, тут, разумеется, дело не в кофточке, а в самой Злате Аркадьевне, но была-то, чёрт побери, была в тот день на ней именно эта кофточка, да, вот эта самая, а не какая-то другая!

«Он уже здесь! – опять пела душа. – Нас много! Он это увидит! Он будет доволен!»

А вот и блузка из тончайшего белого шифона. Ах, не так уж она была стара! Не считайте эту блузку такой уж старой! Когда это было? Ну, после войны, во всяком случае. Она была в этой блузке на вечере в Горном институте, она танцевала там с ним, с Евгением, с Женей. Говорили, что он – гениальный математик, но ей-то что до того?! Он работал то ли над теорией чисел, то ли над теорией множеств, а может, и ещё над какой-нибудь теорией; впрочем, это неважно. А потом он её жестоко обидел, он её предал, он предал их всех! А ведь он был с ними, он был один из них... И поэтому она не хочет о нём вспоминать, о Евгении, о Жене. Она никогда не станет о нём вспоминать!

Следующим заходом клюкою была извлечена горжетка из лисицы, имевшая вид жалкий и заносчивый. Ах, как любила она когда-то эту лисицу! Ей нравилось зарыться разгорячённым лицом в этот мех, пахнувший шампанским и дорогими сигаретками. Любовником её (Ай! ай! срам-то, стыд-то какой! – говорили ей) тогда был студент из Политехнического, которого звали гордым именем – Лев; и вот однажды тёмным зимним вечером со Львом они выходили из ресторана «Аквариум» и у входа столкнулись с красивым и усталым господином, немного нервным и бледным, и спутником господина была девушка, и Лев тогда сказал, что этот господин – Блок. Лицо девушки, сопровождавшей Блока, забылось, и самого Блока лицо тоже стёрлось из памяти, зато Злата Аркадьевна хорошо помнила, что в тот вечер на ней самой была её любимая лисица. Лев называл Злату Аркадьевну «вечной жидовкой», шутил, конечно, юмор у него такой был, прямо скажем, не лучшего свойства; время было такое: острили все, нельзя было не острить; но знал бы он, насколько вдруг даже случайно для себя попал в точку. Лев потом, через несколько лет, погиб под Новочеркасском, но они к тому времени давным-давно уже расстались, Лев и Злата. Возможно, к сожалению для обоих; впрочем, не стоит слишком уж преувеличивать их обоюдное сожаление. Злату Аркадьевну ждали в жизни новые увлечения, а Лев... а что, собственно, Лев? много было в её жизни таких мальчиков. Был и ещё один, например, который в наши уже времена стал доктором. Известным доктором, учёным. Как же его звали-то? Вот память!.. А Лев... Что – Лев? Не следовало бы ему тогда так увлекаться политикой! Может, всё и по-другому сложилось бы...

Злата Аркадьевна поворошила ещё клюкой в шкафу, и вот под шёлковой блузкой, которую она надела в день коронации Станислава Понятовского (Ах нет, она, конечно, не имела никакого отношения к тому событию! К коронации! Собственно, кто она такая была тогда, чтобы иметь отношение к тому событию? В разное время ей случалось и возноситься, и падать, а вот тогда она была как раз невысоко. Просто был праздник, и как же не надеть в праздник что-нибудь новенькое, нарядное?!), под той самой блузкой старуха обнаружила коробочку из красного дерева, давным-давно побуревшую от времени. Тут уж клюка была ей не помощница, и старуха, привстав с кресла и держась одной рукой за его подлокотник, долго тянулась к коробочке, так что трещали её старушечьи косточки. Не приведи Господь было уронить эту коробочку, в которой лежал браслет, выточенный из крупного сердолика, на котором странными неведомыми буквами были вырезаны загадочные письмена. Этот браслет был единственным, что ей удалось вынести после их стародавнего исхода из Египта, когда перед ними расступилось море; путешествия, странствия, не вполне забытых ею, но казавшихся какими-то нереальными, несбыточными, потусторонними...

Доктор Яд

Хормейстер Фряликов отчаянно метался по Петроградской стороне, нигде не находя покоя. Он превращался в гермафродита, теперь это уж было совершенно очевидным. Впрочем, что он? Сам город всё более утрачивал теперь свои мужские очертания! Он бегал по узким улочкам вблизи Большого проспекта с их нелепыми названиями – по всем этим дурацким улицам Полозова, Подрезова, Плуталова, Подковырова. Ему казалось, что его и впрямь сейчас подрежут или подковырнут, ему невыносимо было глядеть на людей, он тщательно избегал прохожих, заскакивал во дворы, снова выбегал из них, если те оказывались не проходными, искал другие. Иногда он заглядывал в окна первых этажей, но его вовсе не интересовало, что там, за этими окнами. В окнах он высматривал себя самого. Виденное ужасало Фряликова: его черты делались всё более отчетливо бабьими, одна лишь его обширная лысина оставалась пока неизменной.

«Так что ж!.. – кричал себе Ипполит Глебович. – Теперь скоро и срать придётся вприсядку? Так, что ли?!» – отчего-то именно последнее обстоятельство более всего приводило его в отчаяние.

Вот, наконец, Фряликов решился перейти, перебежать Большой проспект с его заносчивым односторонним движением. Он не стал дожидаться, покуда транспорт станет на светофоре, но воспользовался мимолетною пробкой и побегал, суетливо и нервно лавируя мимо сигналящих автомобилей. Галопом он проскочил до Большой Пушкарской, выбежал на Широкую, бывшую Ленина, хотя совершенно не хотел на неё выходить, и потом довольно быстро углубился в бессмысленные переплетения косых разночинных грязноватых улочек, где толкался пьяненький народец и прочее филигранное быдло, где из подворотен пахло мочой и плесенью и еще чёрт-те чем пахло тоже, например, где-то пахло чёрным кофе! (и зачем им только, недоумкам, кофе? с них и пива-то достаточно месячной давности, да ещё портвейна самого дешёвого, названного в народе «бормотухой!»), где дома стояли все в трещинах, с опавшею штукатуркой и будто покосившиеся. И все дома здесь были грязны и безобразны, будто мазаны дегтем.

Да как же это вообще возможно, чтобы какой-то там Сумароков (между нами говоря, и писатель-то весьма посредственный) ляпнул: ты, Фряликов, – гермафродит, и вот теперь он, Фряликов, и впрямь превращается в гермафродита? Кто-нибудь из вас слышал что-то про такое? Да нет же, не бывает такого, и никто из вас не мог о таком слышать, это уж точно! Так что ж, ему изменяет зрение? Ведь нет же? Может, он поддался какому-то дьявольскому внушению, что похлеще всяких там кашпировских? Но нет, не бывает таких внушений!

Фряликов ощупывал грудь; да точно, точно, бабская грудь. Мерзость-то какая! Тоже что-то несуразное происходило и в паху, и он уже знал, он уже догадывался, что там происходит.

– Чёрт! Чёрт! – стонал Фряликов.

Но стенаньями горю не поможешь. Чьими, скажите, стенаниями можно помочь горю? Его, Фряликова, горю! Ничьими, разумеется. Пропеллер рук его вращался всё быстрее, Фряликов весь в поту и в ярости бежал по улицам, тщательно уворачиваясь от случайных прохожих. Да-да, верно: он – человек неудачи, недоумения и неудовлетворенности. В сущности, этим он уникален, именно этим. И ведь никого нет больше таких, совсем никого! А может, у него просто какая-то неизвестная нервная болезнь?

Хормейстер Фряликов вдруг застыл, как вкопанный. Его осенило. Он повернулся и побегал обратно; это было где-то здесь, совсем неподалеку. Как же он мог забыть об этом?! Может, в этом и есть его, Фряликова, спасение! А уж если и нет, так значит и вообще спасения для него не существует! Чёрт, какое спасение?! Что такое вообще – это ваше спасение?! На что оно?! Зачем вы вообще придумали его?!

Здесь, в Малой Пушкинской жил один человек, академик, или не академик, но всё равно светило, специалист по нервным болезням, доктор Генрих Александрович Яд. Фряликов познакомился с ним несколько лет назад на какой-то презентации и однажды даже был у него дома, совершенно случайно. Ипполит Глебович теперь думал с тоскою, что Яда может и не быть дома, и тогда придётся ждать до вечера, а до того времени где-то прятаться, избегая всех и шарахаясь от случайных раскалённых взглядов окружающих. Неужели же не могло ему повезти хоть раз в жизни, думал ещё Фряликов.

Когда хормейстер Фряликов подходил к дому доктора Яда, асфальт тротуара как будто покачнулся и продавился под Фряликовым, тот остутился и повалился на стену дома, ободрав плечо своей китайской куртки о шершавую штукатурку. Промоина, что ли, была под этим проклятым асфальтом? Так ведь недолго и вообще куда-нибудь провалиться.

Он ворвался в парадное и побежал по красивой старинной лестнице с зашмыганными витражами на площадках, побежал в третий этаж. Он вертел головой и нюхал воздух, как гончая. Он вспоминал квартиру доктора Яда и всё-таки вспомнил её. Как будто по запаху вспомнил он квартиру доктора. Фряликов позвонил в дверь долгим звонком, всё своё нетерпение вкладывая в палец, прижавшийся к кнопке.

Дверь ему открыла девушка в шортах и в маечке, открыла легко, не спрашивая, кто звонит. Она стояла в дверном проёме, с любопытством рассматривая Фряликова, потного, расстрёпанного и тяжело дышавшего. Своё преимущество молодости девушка несла легко, будто его даже не замечая. А уж Фряликов-то замечал такое преимущество! Как же можно было не заметить преимущество?!

– Я – Фряликов, хормейстер! – крикнул пришелец. – Вы не смотрите на моё лицо! Чего на него смотреть?! У меня проблемы, без проблем я бы не пришёл! То есть, мог бы прийти, конечно, – поправился он, – но уж не так, ясное дело! И мне бы Генриха Александровича!

Девушка впустила хормейстера в квартиру.

– Генрих Александрович у себя в кабинете, – сказала она. – А вы о встрече договаривались с Генрихом Александровичем?

– Какое там договаривался?! – возмутился хормейстер. – Вы не видите, я в бабу превращаюсь! То есть, в женщину, конечно! Ничего не хочу плохого о вас сказать! И по-вашему, это нормально?

– С Генрихом Александровичем о встрече заранее договариваться нужно, – ещё тише сказала собеседница хормейстера.

– А вы ему кто будете? – подозрительно спросил Фряликов, подходя к двери кабинета, на которую ему указала девушка.

– Я ему была и буду... дочь, – ответила та. – Я – Соня. София Яд, – сказала ещё девушка.

– Мудрый яд, – машинально перевёл Фряликов. Хотя трудно, конечно, было поручиться за точность его скоротечного перевода.

Вот Ипполит Глебович толкнул дверь, но, толкнув, всё же постучал, робко и нерешительно, с молитвенным смирением; вся надежда его была на это частное посещение, Фряликов даже как будто уменьшился в росте, едва переступив порог кабинета.

Доктор Яд стоял возле окна, за занавеской. Он пошёл навстречу Ипполиту Глебовичу, руки не подал, но предложил сесть весьма нелепым движением руки. Выглядел Генрих Александрович ужасно, как никогда бы не должен был выглядеть доктор; морщины его еще углубились в сравнении с тем, каким запомнил доктора Яда Фряликов. Доктор похудел, и вокруг глаз его были чёрные круги. Какой-то гадостью невообразимой пахло в кабинете, вроде ландышевой настойки.

– Генрих Александрович! – взмолился Фряликов. – У меня беда, Генрих Александрович! Я – Фряликов, помните?

Генрих Александрович, кажется, кивнул, да, мол, он помнит Фряликова; хормейстер, во всяком случае, именно так и понял неприметное движение головы доктора. Впрочем, движение головы было какое-то механическое, неестественное, будто у марионетки.

– Диву даёшься иногда, – утробным голосом сказал вдруг доктор, – что люди называют бедой.

– Но как же?.. – растерялся Фряликов и глазами замигал быстро-быстро. – У меня же действительно беда!

– Нуте-с, рассказывайте, – по-докторски протянул доктор, сверля своим пустым, безжизненным взглядом Ипполита Глебовича. Голос Генриха Александровича был будто здесь и не здесь, будто от стен, от потолка, от сверкающего паркетного пола, от стеллажей с книгами исходил этот причудливый голос. Будто внутри воспалённого мозга Фряликова зарождался этот немыслимый голос.

– Рассказывать? А что рассказывать? Разве ж так не видно? Не видно, что ли, что я превращаюсь в бабу? Не видно, что я превращаюсь в гермафродита? Разве не видно?

– Что ж здесь такого? – пожал плечами доктор Яд. – Многие превращаются в гермафродитов.

Фряликов будто с разбега наскочил на стену.

– Нет уж, извините, Генрих Александрович, – воскликнул он. – Вы, конечно, специалист, а я – нет! Но одно дело, когда ребёнок развивается так, что из него и не мальчик выходит, и не девочка, а совсем другое дело, когда вот так вот, в зрелых годах и к тому же в течение одного дня, на глазах, можно сказать...

– Что на глазах? – спросил Яд.

– Как это что?! – крикнул Фряликов. – Странный вопрос! В гермафродита превращаешься!

– Кто превращается?

– Да я, я превращаюсь! – крикнул ещё громче Фряликов.

– Так вы, что же, – сказал доктор, – на глазах прямо?..

– Именно так! – выдохнул Ипполит Глебович.

Генрих Александрович пожевал что-то одними губами, без всякого выражения на лице.

– Так может быть, – сказал он, – вам какое-то время дома посидеть, не выходить никуда, если уж вы так стесняетесь чужих глаз?

– Что?! – возмущённо вскричал Фряликов. – Как это так?! При чём здесь чужие глаза?

– Вы же сами сказали, – сухо говорил доктор.

За стенкой раздался шум, визг или вопли, как будто там мучили кошку. Впрочем, может быть, было и что-то другое. Звуки были какими-то жуткими, неестественными, тревожными, от них мурашки бежали по спине. И от них ещё сосало под ложечкой.

– Соня! – раздражённо прикрикнул Генрих Александрович. – Это моя дочь, – объяснил он Фряликову.

– Да-да, я видел, – поддакнул хормейстер.

– Так о чём мы с вами говорили? – спросил доктор.

– О том, что я превращаюсь, – подсказал Фряликов, не потерявший нити разговора. – Вы, Генрих Александрович, сказали, а не побыть ли мне дома во время превращения, если, мол, чужих глаз стесняюсь.

– Да-да, – припомнил доктор.

– Но послушайте, вы что же считаете, что это нормально, что у меня, у мужчины, вдовца, можно сказать, на старости лет вдруг растёт грудь, как у Мэрилин Монро какой-нибудь?!

– Ну, насчет Мэрилин Монро, это вы загнули, конечно, – как-то механически махнул рукой доктор. – Вы её фотографии-то видели? Вот уж у кого грудь так грудь была! Такую грудь днём с огнём, так сказать...

– При чём здесь Мэрилин Монро? – в отчаянии закричал Фряликов.

– Ну знаете!.. – медленно, движением паралитика, развел руками доктор. – При чём здесь – то, при чём здесь – это!.. Капризный вы какой-то совсем стали, дружок. Вот бы вам на что обратить внимание! Успокоительное попить, например. А на водочку, друг мой, не налегайте! Не налегайте, искренне говорю вам!

Шум за стенкой не прекратился отнюдь, он лишь переместился в сторону куда-то, и к нему прибавилась музыка, размашистая, оглушительная, такую музыку не переносил Фряликов. Уж понятно, это был не Шуберт! Шубертом там и не пахло. Так не пахло и вообще ничем удобоваримым, по мнению хормейстера. Так они и бились друг с другом, так и противоборствовали – визг и музыка.

– Соня! – нервно заорал доктор Яд. – Соня! Прекрати! Что это такое?! Я же здесь не один! Ужас с этими молодыми поколениями, – сказал он ещё Фряликову.

Хормейстер машинально головою кивнул.

– Матери у неё нет, и девочка совсем от рук отбилась, – как будто оправдывался доктор. Не зная, что ответить Генриху Александровичу, Фряликов снова кивнул головой.

– А у вас есть дети? – спросил доктор.

– Какие дети?! Зачем ещё дети?! Что вы такое говорите?! – Фряликов даже вздрогнул.

– Ну вот то-то и оно!.. – протянул Генрих Александрович.

– Так что же мне делать с этим моим превращением? – наконец, горячо говорил он доктору. Потом он тщательно собрался с мыслями, помедлил немного и говорил ещё:

– Генрих Александрович. Случившееся – для меня полная неожиданность. Поэтому... я вот вышел из дома, а тут это!.. Всё случилось, буквально, за последний час! У меня сейчас нет с собой денег. Но потом... потом!.. Я вас прошу! Я вас умоляю! Я не хочу, не хочу превращаться в бабу! Я не хочу быть гермафродитом! Спасите, спасите меня! Вы не представляете, что там сейчас происходит, – сказал Фряликов, указывая на свой проклятый пах, доставлявший ему теперь столько мучений.

– Ну, хорошо, – помедлив, говорил Генрих Александрович Яд, специалист по нервным болезням. – Раздевайтесь. Я вас хоть посмотрю.

Ипполит Глебович стал расстёгивать куртку и брюки, скучно смотря мимо доктора Яда, куда-то в сторону окна. Доктор стоял возле стола, смотрел мимо Фряликова и равнодушно барабанил пальцами по твёрдой и тяжёлой столешнице.

– Я так понимаю, дружок, – сказал вдруг Генрих Александрович с какой-то даже пагубной усмешкой, – что у вас какая-то гормональная революция происходит. Любопытный, любопытный случай, доложу я вам! Если всё, конечно, подтвердится.

Фряликов посмотрел в лицо своего собеседника, и оно ему показалось мёртвым.

– Да чёрт бы побрал эту вашу революцию! – упавшим голосом сказал он.

– А раньше ничего этого не было? – равнодушно спросил Генрих Александрович.

– Не было! Не было! – крикнул ещё Фряликов.

Музыка вдруг грянула совсем уж оглушительно, от ударных сотрясались стены, да и те, другие звуки сделались уж вовсе нестерпимыми. Какофонией, самой отъявленной и непристойной какофонией было это дикое смешение звуков.

– Ну, я ей сейчас устрою! – воскликнул Генрих Александрович и походкою истукана, походкою робота направился к выходу.

– Генрих Александрович! – окликнул того Фряликов, но доктор Яд уже вышел из кабинета.

Фряликов потоптался на месте. Потом ходил по кабинету. Он посмотрел раскрытые книги, лежавшие на столе доктора; книги были, кажется, на немецком языке, а может, и не на немецком, может быть, на иврите; языков Фряликов не знал. На стене возле окна висел портрет самого доктора Яда; доктор смотрел прямо в объектив и теперь как будто наблюдал

за всеми передвижениями Фряликова по кабинету. Вдоль стен были стеллажи с книгами, книгами, книгами. Значит ли сие, что в этом доме читали? Нет, не значит. Может, только делали вид... Фряликов немного завидовал этим интеллигентам во всех предыдущих поколениях; и отец доктора был интеллигентом, и дед, и отец деда, и дед деда. Они от поколения к поколению несли свет своей интеллигентности и передавали традиции от отца к сыну, от сына – к его сыну; так, конечно, легко стать интеллигентом или даже стать творцом, так легко воспринять и знания, и культуру, и духовные навыки. А попробуйте-ка стать кем-нибудь, участь на медные деньги, преодолевая сопротивление своих косных предков и их примитивных традиций, сопротивление среды, в которой чавкают, крестят рот, зевая, шмыгают носом, где смеются шуткам вековой давности, где живут вшестером в одной комнате, попробуйте-ка стать хотя бы даже хормейстером или учителем музыки, или свободным художником, ежедневно наблюдая всё это!.. Да и все эти книги на стеллажах... разве не насмешка они над случайным посетителем? разве можно прочитать всё это одному человеку? Ведь нет же, невозможно, никак не возможно! И вот тогда и получается, что здесь одна насмешка, одно презрение ко всякому человеку, забредшему сюда, быть может, случайно или даже пришедшему сюда со своею бедой. Как человека выдают его книги; особенно, если их так много. С головою человека выдают его книги, сказал себе Ипполит Глебович Фряликов, бывший хормейстер. Хочешь скрыть, утаить своё человеческое – не показывай никому книги свои! Впрочем, всё человеческое в человеке есть также и самое наносное, самое двусмысленное, самое неистинное.

Звуки в соседней комнате теперь не то, чтобы прекратились, но стали совершенно другими. Там уже не было слышно ни визгов, ни воплей и там как будто уже не мучили кошку, но, быть может, та же самая кошка, выросшая до размеров тигра, поела кого-то или что-то и самодовольно, ненасытно урчала. Фряликов посмотрел в окно, но там смотреть было не на что. На редких ничтожных человечешек, однообразно бредущих по тротуару, смотреть ему было, что ли? Или на то, как неподалеку на газоне драная лишайная кошка ловила опрометчивую пичугу? На это вообще смотреть никому не интересно. Фряликов отошёл от окна и снова стал ходить по кабинету Генриха Александровича, злой и нетерпеливый, будто енот перед случкой. Может, доктор попросту забыл про него? Ну да, конечно, ведь это не Яд превращается в гермафродита; так вполне можно и забыть про Фряликова. Ипполит Глебович, на месте доктора, может, тоже забыл бы, если бы в гермафродита превращался не он. В конце концов, это просто даже не вежливо!

Фряликов осторожно вышел из кабинета и потоптался немного в прихожей. Звуки были совсем недалеко; буквально, в соседней комнате. Несколько тихих шагов по коридору, и вот Ипполит Глебович уже у этой двери. Хотел было постучать в дверь или покашлять деликатно, чтобы вспомнили о нём, но не решился ни постучать, ни покашлять. Но вдруг – о, ужас! – наклонился перед дверью и заглянул в замочную скважину.

Кошмар! кошмар! разве ж это возможно?! что же это такое?! что же Фряликов увидел там? Он увидел белые костлявые ягодицы и спущенные до щиколоток на худых волосатых ногах брюки. Ягодицы жадно сновали вперёд и назад, вперёд и назад, совершая известные, самую природой предписанные движения. Он увидел и куда более изящный девичий зад. Зад был потрясающим, Фряликов никогда не видел таких; а то, что ему приходилось видеть прежде, было... нет уж, лучше не вспоминать, что ему приходилось видеть!.. Никогда лучше не вспоминать, что он видел прежде! А уж размеры! Вообще жир – оскорбление этому миру, плевков ему и насмешка над ним – вот, что такое жир! А ныне... Два тела – немолодое и юное – содрогались в одной невообразимой, немислимой сексуальной связке. Девушка вдруг оборачивалась, глядела как будто в сторону двери, и Фряликов слышал:

– Подсматривает! Подсматривает!

В девице Фряликов вдруг узнал дочь доктора Яда, Соню, ягодицы же принадлежали самому Генриху Александровичу. Фряликов на мгновение отпрянул от замочной скважины, но потом всё же не выдержал и приник к ней снова.

И снова слышалось:

– Подсматривает! Подсматривает! – и слышалось сбивчивое дыхание юной особы, и тяжёлое натруженное дыхание старого доктора.

– Пусть! Пусть! – стонал доктор. – Ещё! Ещё! Показалось! Нет! Нет! Ещё! Ещё!..

– Подсматривает! – крикнула ещё Соня. – Ну уж я ему покажу! – она вдруг извернулась, не меняя положения, наклонилась, стащила с ноги тапок и с силою запустила тапком в дверь, за которою стоял Фряликов.

Хормейстер отлетел от двери и на цыпочках понёсся в сторону кабинета.

– Пусть! Пусть! Пусть! – слышал он за дверью беспорядочные восклицания доктора Яда.

В кабинете он бросился в кресло и сидел, воровато оглядываясь и стараясь унять сбившееся дыхание. Стыд обжигал его; ему было стыдно увиденного, ему было стыдно, что его самого застали за подглядываньем. Как будто он подглядывал из любопытства! Нет, он подглядывал не из любопытства, он подглядывал оттого, что думал: может, там кому-то надо помочь! Да-да, именно так! Он так и скажет: он подглядывал оттого, что хотел помочь! Кому он хотел помочь? А он не знал, кому он хотел помочь, он просто хотел помочь, и – всё! Именно так! Сегодня он поможет другим, а завтра помогут ему! Хотя лучше бы, ему самому помогли сегодня. Он сегодня нуждается в помощи, именно поэтому он пришёл к Генриху Александровичу, и именно поэтому он оказался в таком щекотливом, – да-да, чёрт побери! – в таком невероятно щекотливом положении.

Звуки за стенкой, кажется, затихли, Ипполит Глебович, во всяком случае, их не слышал. Так значит именно сейчас сюда вернется доктор Яд, и ему, Фряликову, придется давать объяснения. Что ж, он готов к тому, он даст свои объяснения.

Вошла Соня. Беззвучно вошла. Одна нога была у неё босая, другая в тапке. Она посмотрела на Фряликова, кажется, хихикнула тихонько и отошла к книгам на стеллаже. Ипполит Глебович смущённо кашлянул, потом ещё раз, ещё смущеннее.

– А Генрих Александрович, не скажете?.. – тихо спросил он.

– Папа? – переспросила девушка.

– Да, Генрих Александрович, – подтвердил хормейстер.

– Папа умер, – ответила девушка. Тонотом ответила, никак не располагавшим ни к недоверию, ни к усмешкам, ни даже к фривольности.

– Что? – похолодел Фряликов. – Как? Когда?

– Сегодня девять дней как раз, – Соня кивнула головой в направлении фотографии на стенке, Фряликов перевёл взгляд и вдруг увидел чёрную траурную рамку вокруг портрета доктора Яда.

– Да, но как же... – пробормотал он.

– Папа никогда не разрешает мне брать его книги, – улыбнулась дочь Генриха Александровича, снимая со стеллажа какую-то толстую книгу на немецком языке.

– Что ж мне теперь?.. – тоскливо сказал Фряликов, но не закончил фразы.

– Но я всё равно беру иногда...

– А мне-то что делать? – настойчиво говорил Фряликов.

– Папа сказал, что у вас очень сложный случай и вам нужно обратиться к тому, кто сильнее его.

– Кто сильнее его? – спросил Ипполит Глебович.

Девушка будто не слышала вопроса. Она тихонько мурлыкала какую-то песню, она прижала книгу к груди и сделала широкое круговое движение, будто собираясь пуститься в танец.

Фряликов сидел наедине со своею тоской, а рядом была девушка, юная, гибкая, с лицом загадочным, волнующим, будоражащим. А вот сам Фряликов, кто же он теперь? Мужчина? Женщина? Или ни то, ни другое? Он должен обладать, или должны обладать им? И что теперь ему нужно сменить имя на женское? Сменить паспорт? Одеваться в платья и кофты? Носить колготки и лифчики? Так?

– Очень это противно видеть? – угрюмо спросил Ипполит Глебович.

– Что?

– Как я превращаюсь в бабу? – сказал, как сорвался с горы, Фряликов.

– А у меня есть дружочек, – с усмешкою сказала Соня. – Или, вернее, даже двое дружочков. Красивые!.. Просто мрак – какие красивые оба! Так они – голубые. Вы знаете, что голубые бывают очень красивыми? – спросила ещё она. – Да они чаще всего и бывают красивыми.

– Это другое, – упрямо сказал Ипполит Глебович. Он не понимал, для чего ему рассказывают про глупости, когда у него такое...

– Нет, правда – красивые!

– Всякие бывают.

– Я когда с ними встречаюсь, они меня раздевают, раздеваются сами, и я должна целовать их, целовать... везде, по-всякому... Они возбуждаются, меня целуют, потом снова я их. Я их завожу, завожу, а пользуют потом они друг друга. Голубые – потому что. Вот так у нас всегда и бывает. А я много чего для них делаю.

– А может вы мне подскажете какого-нибудь коллегу Генриха Александровича, который бы мне помог? – глядя в пол, сказал хормейстер Фряликов.

Но девушка будто не слышала его. Она раскрыла книгу и углубилась в чтение.

– Коллегу бы мне какого-нибудь, – тоскливо повторил Фряликов.

– А? – отозвалась девушка будто бы чему-то прочитанному.

– Насчет коллеги!.. – сказал тот еще.

– Как, вы уже уходите? – спросила девушка, на минуту отрываясь от чтения.

– Ухожу, – мрачно согласился хормейстер.

Приход его был незванным, сомнительным, уход же и вовсе бесславленным.

Дочь Генриха Александровича обожгла хормейстера взглядом, с сожалением закрыла книгу и пошла провожать гостя.

В прихожей Фряликов неловко жал девушке руку, прощаясь; топтался на пороге, долго надевал остроносые туфли и, наконец, вывалился из барской квартиры доктора Яда.

– Я никогда себе не позволял... – сказал он, обернувшись. Он топтался теперь на лестничной площадке, на которую выходили двери двух квартир, всего двух. – Никогда бы себе не позволил.

– Что?

– То, что позволяют себе они, – сказал он.

– Кто?

– Ну эти... ваши дружки, – сказал Фряликов.

– Что позволяют?

– Всё, – сказал Фряликов.

– Это не страшно, – тихо возразила девушка.

– Страшно, – возразил Фряликов.

Он вдруг сам испугался сказанного, его ведь не спрашивали об этом, его не просили давать оценок и, даже не прощаясь, с сухою поспешностью побежал к лестнице.

– Слабого доктора ищут. Сильный приходит сам, – тихо-тихо сказала дочь Генриха Александровича.

Фряликов был уже двумя пролетами ниже и, спускаясь, тяжело топал своими остроносими туфлями, но он всё же расслышал слова Сони.

Ах, если б он был другим!.. Если б у него была лицензия на безграничное существование; ведь он бы тогда захотел пребывать в положении тотального новобрачного, суперпрелюбодея, разве не так? Нет, этого ему никому не объяснить!..

Дядя и племянник

– Мы должны... я скажу вам, мы должны бороться за нашу славянскую парадигму, – говорил писатель земли русской Сумароков, когда поддерживаемый Иваном Ивановичем за талию неуверенно шёл по мощёной плиткой улице Жуковского. – Вы вот взгляните!.. – с небольшой запинкой говорил ещё он.

– О, он будет так рад, когда мы придём вместе, – деликатно дождавшись паузы в рассуждениях своего собеседника приговаривал Нежноп. – Подумать только, сам писатель Сумароков к нему пожалует!

Над головами мужчин плыли сизые клочковатые тучи, плыли за Неву, за Охту и далее, далее, по своим необъяснимым атмосферным надобностям. Когда солнце пробивалось в просвет их, делалось жарко и маетно, когда скрывалось за их неукротимой пеленой, вступал в свои права гуляка-ветер: он подхватывал, поддёргивал людей за их одежды и холодно задувал тем во все щёлочки и клапаны, за все пазухи. Лето уже съёживалось, ссутуливалось, лето уже дышало на ладан; будущие непогоды уже толпились у порога лета с намерениями нежной осады или хитроумного подкопа, чего доброго.

– Взгляните, вам говорю: кого мы читали последние тридцать лет. Кого? Латиносов, – сказал, как отрубил, Павел Васильевич. – Всяких там, изволите видеть, борхесов. Всяких там амаду и карпентьеров. Всяких там маркесов! Всяких кортасаров! Чтение неплохое, не спорю! И мы даже америкашек вонючих с англичанишками спесивыми так не читали, как этих латиносов. Ну так что ж, нам теперь до скончания веков читать латиносов? А вы вспомните, нобелевские премии давали кому? Да им же, им! Опять же латиносам! Это же просто ни в какие ворота не лезет!

– Он ведь даже ваши книги читал. Мы старались нашему мальчику дать хорошее воспитание. А кто сейчас вообще что-нибудь читает?! – торопливо говорил Нежноп.

– А вот скажите мне, кто такие латиносы? А? Задворки! – обрушился Сумароков. – Натуральные задворки! Провинция! Тмутаракань! На одном своём реализме магическом и выезжают.

– И эту вашу книгу... сейчас не помню её название!.. И ещё другую... тоже читал!

– Есть, скажите мне, справедливость? Есть? Нет справедливости! – снова отрубил Сумароков.

– Воспитывали, воспитывали – и довоспитывались! – недовольно высморкавшись, говорил Иван Иванович.

– Ну вот уйдут латиносы, и кто придёт им на смену? – с ожесточением говорил Сумароков. – Кто? Америкашки? Ха-ха!.. Смешно! А кто? Французы, что ли? Или немчура? Нет, у них мозги давно высохли, совсем высохли, и все идеи они у нас воруют. Да мы и сами рады запродаваться им за бесценки! За гроши! За стеклянные бусы! За глупые комплименты славистов! Разве это нормально? Скажите, нормально? Нет, не нормально! А может, им на смену придут черномазые? Негритосы? – сделал широкий жест рукой Павел Васильевич, будто приглашая собеседника оценить абсурдность его последнего предположения. – Где литература негритосов? Где философия? Нет никакой литературы негритосов! Нет философии! И не надо им литературы! Им на пальмах и так хорошо! Без всякой литературы! Когда бананы есть – не надо никакой литературы!

– И ведь вы подумайте, дорогой Павел Васильевич, мы ему и то, мы ему и это, а ему ничего не надо. Сидит, у себя запершись, и всё дробит, дробит, дробит, не может без этого. Ну а потом, конечно... бледный вид, круги под глазами, грусть несусветная, мысли всякие в голове. Чему же здесь удивляться-то? – поспешно говорил ещё Иван Иванович. – И вот доду-

мался – как вам это понравится? – жить, мол, не хочу! Ни больше, ни меньше! Не хочу жить, и всё тут!

– Но всё-таки нам нужно бороться! – погрозил кому-то пальцем Сумароков. – За метафизику нашу русскую бороться! А то знаете, что будет? Не знаете? А вот что будет! Косоглазые придут! Придут! Точно вам говорю: придут! Азиаты! Индокитайцы! Их много, индокитайцев-то! Их два миллиарда, вы знаете об этом? Придут со своей индокитайской этнографией. С экзотикой своей индокитайской придут и за смысл её выдавать станут! А любители-то на такое отыщутся! Филологи-то из Сорбонны да из Гарварда завсегда готовы в паранджу вырядиться. Обезьянья, обезьянья порода у филологов из Сорбонны, да из Гарварда этого вашего! А там, глядишь, одну Нобелевскую Сунь Хуй В Чай получит, другую Нобелевскую другой Сунь Хуй В Чай получит, и – всё: пропало дело! Ещё лет на тридцать пропало! Пропала русская метафизика. Душа русская так и будет томиться в тоске, неразбуженная, неузнанная, непоименованная! Так и будет страдать под спудом! Страдать и томиться! Да и вообще: миссия ведь у нас! Вы не знали этого? У улиц этих, у домов обосранных, у реки, по которой одни гондоны плавают, у всего города этого сволочного, у жителей его! Мы должны выкрикнуть! Мы должны правду нашу сказать! И хочет Москва с нами заодно быть, так пусть будет заодно! Хочет Мухосранск заодно быть, пусть будет заодно! Но тогда пусть Москва покается и деньгами ворованными поделится! И пусть Мухосранск к нам приползёт в рубище и, что делать ему надо, спросит смиренно! И мы скажем, что делать ему! А нет – так и пусть ко всем чертям катятся! И Москва, и Мухосранск, и все прочие города земли русской! И без них не пропадем, да и миссию исполним! И не будет прощения им, истинно вам говорю! До скончания веков прощения им не будет! Москва! Как много в этом звуке слилось для нас безобразного и нечистоплотного! У них там, в Москве, чёрным хлебом даже вороны брезгуют. А одну только белую булку жрут, сволочи! – говорил ещё Сумароков, увлекаемый своим собеседником под арку старинного дома на улице Чехова. – У них там не художники и не творцы, но только барыги, кикиморы да фекальные помазанники.

– Сюда, сюда, Павел Васильевич! – говорил, волнуясь, Нежноп. – Пришли уж почти!

– А вот не надо бы, не надо Сунь Хуй В Чаю Нобелевскую-то давать! – горячечно говорил Павел Васильевич. – Зачем она Сунь Хуй В Чаю-то косоглазому? Ее нужно дать нашему Иванову! Нашему Петрову!..

– Вам, вам, Павел Васильевич, нужно Нобелевскую дать, я так считаю, – шептал ещё Иван Иванович.

– Или нашему Сидорову, по крайней мере! – твёрдо сказал Сумароков, не поддаваясь на комплимент. – По делам, да по заслугам их небывалым! Да за страдания души русской! Много, много было страданий тех! Ну да ладно! Ладно, говорю! – махнул рукой в сердцах Сумароков. – Разве от обезьян этих стриженных сорбоннских дождёшься когда-нибудь?! Нет, не дождёшься от обезьян!

Мужчины стали подниматься по лестнице, заплёванной и узкой, с обыкновенною матерной письменностью на стенах, с пятнами засохшей мочи повсюду, и тут только Павел Васильевич припомнил, куда направлялись они. Беспокойство овладело им.

– Как его зовут-то хоть? – понизив голос, спросил он. – Племянника-то вашего.

– Димой, Димой зовут, – тоже полушёпотом отвечал Иван Иванович. – Да вы не беспокойтесь, Павел Васильевич! И вы уж там его покрепче своим словом писательским пригвоздите! Есть в вашем слове что-то такое... разящее! Вы, Павел Васильевич, можно сказать: Победоносец слова!

Сумароков головою кивнул, соглашаясь.

«Я знаю, миссия моя в литературе – быть гарантом грандиозности», – обречённо сказал себе он.

Иван Иванович Нежноп погромел ключами и отворил высокую трёхметровую входную дверь.

– Дома! Дома! – возбуждённо прошептал Иван Иванович, когда они вдвоём беззвучно шагнули в прихожую.

– Дима, что ли? – шепотом переспросил Сумароков. – Племянник ваш?

– Дима! Дима! – подтвердил Иван Иванович. – Я же говорил, что он никуда из дома не выйдет и будет нас дожидаться. Да он никогда не выходит! Вот его дверь, – указал рукой на дверь в прихожей собеседник писателя Сумарокова.

Павел Васильевич прислушался.

За дверью тоже, должно быть, прислушивались, и приход мужчин не остался незамеченным и не услышанным. Лязгнула вдруг задвижка совсем близко, Иван Иванович толкнул дверь, но было поздно: та не открывалась.

– Димочка! – льстиво заговорил Иван Иванович. – Димочка, это я – дядя Ваня.

Ответа не было. За дверью только гроыхнуло что-то; должно быть, в неё запустили с той стороны тяжёлым предметом.

– Димочка, я не один! – увещевающе говорил Нежноп. – А знаешь, кто со мною пришел?

– Я никого не хочу видеть! – крикнули из-за двери. Но потом будто прислушались.

– Хочет, хочет! – возбуждённо шептал Иван Иванович Сумарокову. – Просто делает вид! Иван Иванович просительно постучал в дверь костяшками пальцев.

– Димочка, ну не упрямясь, открой, пожалуйста, – говорил он. – А пришёл со мной... ты знаешь этого человека.

– Уходите! Мне не нужен никто! – крикнул молодой человек из-за двери. – Я не открою!

– Это писатель! Настоящий писатель! Угадай, какой?

И снова что-то гроыхнуло за дверью, и грохот сей был даже отчаяннее прежнего.

– Ты читал его книги. Я случайно встретил Павла Васильевича на улице, и вот он согласился прийти сюда, познакомиться с тобой и поговорить! Ну? Угадал, кто это? Ну? – допытывался Иван Иванович. – Это... Павел... Васильевич... ну? Сумароков!.. – сказал он так, будто рассчитывал на аплодисменты.

Но за дверью стало совсем тихо. Сумароков и Иван Иванович напряжённо прислушивались.

– Димочка, – говорил ещё бухгалтер Нежноп, – ну открой, пожалуйста, не позорь меня перед нашим гостем.

Сумароков на всякий случай подёргал ручку дверную; и впустую, разумеется. Тишина была какой-то слишком уж подозрительной.

– Дима, что ты там делаешь? Слышишь? – тревожно вопрошал Иван Иванович у племянника за дверью. – Что ты там задумал? Не делай этого! Павел Васильевич с тобой только поговорить хочет! Открой! Открой! Дима, открой! Нет, все пропало! – сказал Иван Иванович Сумарокову. – Теперь только ломать надо! А ну, давайте-ка!..

Мужчины отошли подальше от двери, изготовились.

– Дима! – крикнул дядя племяннику. – Мы сейчас дверь ломаем!

Они подождали ещё несколько мгновений, и была тишина напряжённая и не нарушаемая ничем.

– Ну!.. – кивнул головою Нежноп.

Мужчины побежали, но Нежноп в последнюю секунду промедлил, и Павел Васильевич в одиночку больно ударился плечом о дверь. Дверь затрещала, посыпалась штукатурка сверху, но всё же дверь устояла.

– Чёрт, – сказал Иван Иванович. – Крепкая какая! Сразу и не сладишь! Давайте ещё раз! Павел Васильевич, потирая ушибленное плечо, отошёл на исходную позицию.

– Вы уж лучше вперёд, – извиняющимся тоном говорил Иван Иванович. – Вы-то потяжелее меня будете!

Сумароков напрягся, весь подобрался, побежал и всю тяжесть своей, грудью и плечом ударился в дверь («Лучше бы я стометровку бежал!» – в последнее мгновение подумал он.), и тут на него сзади налетел Иван Иванович, толкнул в спину, задвижка с той стороны отскочила, и мужчины тяжело ввалились в комнату, вместе с дверью.

В комнате был беспорядок; на полу рядом с дверью валялся небольшой бюст Пушкина; должно быть, именно его и кидал молодой человек, протестовавший против вторжения непрошенных гостей. Сам же Дима забился в углу возле окна, за диваном и торшером. Иван Иванович не обманул Сумарокова: высоко над окном в стену был вбит крюк, и с крюка свисала веревка с петлёй. Должно быть, давно уже здесь висела эта проклятая верёвка, и хозяин комнаты неоднократно примеривался к ней.

– Дима! Димочка! – ласково заговорил Иван Иванович, глядя на племянника. Он и Сумароков медленно подходили к молодому человеку.

– Я в окно выброшусь! – крикнул Дима и, схватившись за верёвку, ловко запрыгнул на подоконник.

Мужчины замерли. Напряжённая пауза повисла в воздухе, будто дым табачный после ухода курильщика.

– Дима, Дима, смотри! – говорил Иван Иванович. – Это вот Сумароков Павел Васильевич, писатель. Помнишь, ты книгу его читал? Как она называлась? Я, Павел Васильевич, книгу вашу тоже смотрел, да только вот название забыл. А Дима-то наш молодой, память у него хорошая...

Молодой человек затравленно взирал на растрёпанного седовласого Сумарокова и на обливавшегося потом дядю Ивана Ивановича.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.